

Сергей МАЛИНИН

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ



Георгий Победоносец

Сергей Малинин

Георгий Победоносец

«ХАРВЕСТ»

2015

УДК 821.161.1(476)-312.4
ББК 84(4Бей=411.2)-445.7

Малинин С.

Георгий Победоносец / С. Малинин — «ХАРВЕСТ»,
2015 — (Георгий Победоносец)

ISBN 978-985-18-3571-9

Историко-приключенческая драма, где далекие всполохи русской истории соседствуют с ратными подвигами московского воинства в битвах с татарами, турками, шведами и поляками. Любовные страсти, чудесные исцеления, варварские убийства и боярские тайны, а также авантюрные герои не оставят равнодушными никого, кто начнет читать эту книгу.

УДК 821.161.1(476)-312.4
ББК 84(4Бей=411.2)-445.7

ISBN 978-985-18-3571-9

© Малинин С., 2015
© ХАРВЕСТ, 2015

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	15
Глава 3	22
Глава 4	32
Глава 5	46
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Сергей Малинин

Георгий Победоносец

Глава 1

Лето в год от сотворения мира шесть тысяч восемьсот пятидесятого, от рождества же Христова тысяча триста сорок седьмого, выдалось на диво жаркое и засушливое – такое, что по деревням, а порою и по боярским хоромам начали всё чаще заговаривать о скором конце света. Дескать, пожили, и будет, и слава богу, потому как, чем так жить, лучше и в самом деле всем миром отправиться к праотцу Аврааму на пиво – там, во облацех, ежели верить попам, живётся как-никак полегче, нежели в скорбной земной юдоли.

И похоже, всё к тому и шло. Как ни крути, а знамений в то лето было хоть отбавляй. Ходили в ночи по небу огненные столбы, а днём одна видали смерды из деревеньки Луговой, что в боярина Долгопятого вотчине, как в небе две рати насмерть секлись – конно, людно и оружно, как тому и быть надлежит. Колыхались, скрещивались и ломались над сечей хвостатые копыя, вставали на дыбы и рушились, подминая всадников, гривастые кони, и мелькали над битвой русские мечи и кривые иноземные сабли. Петруха Замятин, долгопятовский холоп, сказывал, что узнал в первом ряду знакомого мужика из соседней деревни, в княжескую дружину за рост да стать молодецкую взятого. Хотели мужики всем миром Петруху Замятина в батоги взять – известно, что ты за птица, коли у тебя в таких ратях знакомцы водятся. Насилу он убёг и в лесу три дня хоронился – ждал, покуда народ поостынет. Это уж потом, когда до боярина гонец от соседа доскакал, узнали люди, что рубилась в тот день дружина воеводы Ярославла с войском татарского хана Батыя, из Орды за данью посланного, и знамение сие, по всему видать, Господь нарочно явил, чтоб православных христиан об этой напасти предупредить. Да и то сказать, годков с десятков уже, как татарва проклятая по здешним местам с огнём и мечом не хаживала, – поотвык народ, успокоился, забыл, каково оно – на пороге родной избы от супостата косоглазого вилами отмахиваться.

А Ярослав-воевода вместе с дружиной в той сече лёг. И не миновать бы великой напасти, кровавой татарской резни, кабы не встала у татарвы на пути крепким заслоном московская рать. Собирались второпях и без большой охоты – князья удельные друг на дружку злобились, обиды старые забыть не могли, а до Куликова поля, где московский князь Димитрий, Донским прозванный, силе татарской предел положил, навек ярмо ненавистное с русичей скинув, тогда ещё, как в сказке, оставалось тридцать лет и три года – ровнёхонько столько, сколько Сын Божий на земле прожил.

Но, однако, собрались. Да и как было не собраться, когда супостат, почитай, в самом сердце земли московской объявился? Собрались. Даже Долгопятый боярин, не зело до ратного дела охочий, дружину созвал и самолично в седло взгромоздился. По тёмному да слабому мужичьему разуменью, кабы случилось боярину в сече буйну головушку сложить, от того никому, окромя самого боярина, худа бы не было – издох, и леший с ним. Лют был боярин, пуще зверя лесного лют, и добра от него смерды отродясь не видывали: не отец родной, не заступник и не благодетель, а аспид несытый, волк алчущий, шитый золотом упырь. Посему, ежели бы какой татарин его на пику насадил или срубил кривой татарской саблей бородатую его головушку, какая только и умела, что есть в три горла, пить как не в себя да лаяться богохульно, от такой вести не одна мужичья душа возликовала бы.

Вышло, однако же, иначе. Уцелел боярин, да и иные, кто Москву от татарвы заслонять ходил, целыми по домам воротились. Не случилось сечи, вот и уцелели. Господь в неизьяснимой милости своей явил православному люду предивное чудо: Батый-хан, на поле выйдя,

постоял недолго да и в сторону поворотил, силы русской убоявшись. А войска при нём было без малого полная тьма – сиречь десять тысяч сабель, едва не втрое против московской-то рати, с бору по сосенке собранной. Ну, нешто не чудо?

Так-то вот оно чаще всего и выходит: одним чудо, а другим от этого чуда одна только беда и никакого просвета. Боярин Долгопятый, домой воротившись, пуще прежнего взлютовал. Неделю без просыпу с ближними пьянствовал да блудословил – как же, герой, грудью своей Русь от татарвы защитил! И нет того, чтоб ему от мёда да вина заморского, без меры выпитого, там же, в палатах своих, помереть – куда там! У них, Долгопятых, весь род такой, со времён Владимира Красно Солнышко – умом тугие, нрава лютого, зато чревом крепки – хоть ты его камнями корми, всё ему нипочём. Все они хороши были, из колена в колено один другого хлестче, но нынешний, Гаврила Алексеевич, поди, всех переплюнул. Веками предки мёд да романею в подвалы складывали, а этот, несытый, всё подчистую подобрал – проснулся однава, а голову-то поправить уж и нечем. Ну, да не об нём речь, а о чуде, кое Господь на ратном поле явил.

Про чудо, грешным делом, мужикам Петруха Замятин рассказал, когда из сидения лесного, страху натерпевшись, в деревню воротился. Встретилось ему на пути войско, которое, железа вражьей кровью не замавав, домой шло, а с войском – старушка юродивая, калика переходящая. Вот она, убогая, Петрухе и поведала, что Москву от татаровья злого в этот раз не князя с боярами дружинами своими отстояли, а сам святой Георгий Победоносец, земли русской и православной веры защитник и охранитель.

Петруха, простая душа, про такое диво услышав, чуть было последнего ума не лишился от великого изумления. Помстилось ему, будто так оно на самом деле и было, как старушка убогая сказывала: что выехал сам святой Георгий перед ратью на коне белом, красоты невиданной, в светозарных доспехах и златым копьём в могучей деснице, от коего свет неземной войско вражье ослепил и в бегство поверг. Да на деле-то, конечно, всё не так произошло: Господь силу свою великую явил через святой чудодейственный образ Победоносца, с коим русская рать на поле вышла.

Сказывала старая, перед самой битвой, когда полки уж начали в ряды на поле строиться, явился к войску монашек – молодой, роста невысокого и из себя не особо видный. Обыкновенный, словом, монашек. Откуда он пришёл, никому не ведомо – мало ли, в самом деле, меж Москвой и Коломной монастырей да пустыней? В те поры монахам не зазорно было за оружие браться, оборонять истинную веру не молитвой да ладаном, а мечами да копьями. Промеж монастырской братии тогда такие богатыри встречались, что не всякого и впятером осилишь, да и сами монастыри не зря так строились, что от крепости не вдруг отличишь. Что и говорить, жизнь была суровая да короткая, и частенько случалось, что православный инок, грамоты не ведая, с луком, стрелами да мечом управлялся не хуже княжеского дружинника.

А только монашек, про коего юродивая сказывала, был не таков – ни годами, ни статью для ратного дела не вышел. Стан тонкий, в плечах узок, ликом светел – Божий, одним словом, человек. И была при нём икона, в тряпицу завернутая. Прошёл он, слова никому не говоря, меж полками, поднялся на пригорочек, тряпицу размотал и поднял над головой образ святого Георгия. И будто бы пошло от иконы сияние, и дальше было будто бы всё в аккурат так, как Петруха Замятин выдумал: дрогнуло вражье войско, попятилось, развернулось и с поля ушло. Даже тетивы никто не натянул. А монашка тем временем и след простыл, и куда он подевался, никто не видал. Не иначе был это никакой не монашек, а самый настоящий ангел, Отцом небесным посланный православному воинству.

Мужики, которые Петруху слушали, не то чтобы совсем уж не поверили – как ни крути, а татарин с поля без боя ушёл, о чём никто из них отродясь не слыхивал, – но насчёт ангела и всего прочего малость засомневались. Нет, кабы это кто другой рассказывал, а не Петруха Замятин, первый на всю деревню пустозвон, тогда бы другое дело. А так... У него ведь всю

жизнь этак-то – язык без кости у человека, вот он и плетёт, чего сам не ведаёт. То он в лесу лешего встретил, то русалка его из реки манила, в гости зазывала, то, как давеча, он в небесном явлении знаконца углядел – ну, не пустозвон? Пустозвон и есть, и бить его мужики хотели не потому, что взаправду за колдуна какого посчитали, который с нечистой силой знается, а только чтоб поучить дурака малость, язык ему укоротить, дабы не молол он этим языком богопротивной чепухи. А только дурака, сколь ни учи, всё без толку. Эвон, три дня голодом в лесу просидел, страху, сказывает, натерпелся, а вернулся и сизнова за своё – про ангелов врать. Старуха, главой скорбная, сказочку ему рассказала, а он и радёхонек – собрал вокруг себя полдеревни и пересказывает. Да ещё небось и от себя присочинил, чтоб красивей казалось.

Оно, конечно, без небесного вмешательства дело и впрямь не обошлось. Да только не Петрухе Замятину об этом говорить – что он, пустозвон, в Божьих делах смыслить может? То-то, что ничего.

Словом, посмеялись мужики – не над святым Георгием, ясно, и не над православным воинством, коему Господь не дал в поле до последнего ратника полечь, а над глупыми Петрухиными речами. Осерчал тогда Петруха. «Я, – говорит, – коли так, совсем от вас уйду, подамся к монахам в пустынь». Шапкой об землю ударил и пошёл куда глаза глядят.

* * *

Ну, это-то дело посерьёзней бабьих сказок вышло. Староста деревенский, хромой дьявол, забоялся беглого перед боярином покрывать и сей же час к боярскому тиуну – к самому-то боярину его, смерда, и на двор не пустили бы, да он туда и не шибко рвался, ибо, как и все долгопятовские холопы, властителя своего боялся до дрожи в коленях. Так, мол, и так, сказывает тиуну, не губи, отец родной, а только вышла среди боярских холопов, над коими ты надсматривать поставлен, такая оказия, что Петруха Замятин, смерд неразумный, надел свой бросив, к старцам святым в пустынь утёк, а в которую – не сказал...

Вот ведь до чего язык-то довести может. Жил себе человек, никого не трогал, худа никому не желал. И барщину справно отработывал, и на своём наделе попевал – работающий, словом, мужик. Только язык имел долгий да болтливый, а так – ништо мужик. Как все. И вот через язык-то оказия и вышла – сболтнул, не подумавши, раз, сболтнул другой, глядь, а уж и глаз подбит, и бока ломит, и от барина сбежал, и погоня за тобой верхами, и, главное, податься некуда.

Выбежал Петруха за околицу. Нутро от обиды кипмя кипит, только что дым из ноздрей не валит. Пропадите вы, думает, пропадом, без вас обойдусь, ежели такие умные. Однако, версты три лесом отмахав, поостыл мужик, призадумался, и обуяла его печаль. Ведь не думал, не гадал, а на-кося – убёг! Куда убёг, зачем? К старцам, в пустынь? Да какой из него монах, какой такой инок? «Отче наш» ещё кое-как, с пятого на десятое, затвердил, а дале – ни в зуб ногой. Да нет, старцы-то примут. Они, Божьи люди, сирым да убогим не отказывают. И руки в монастыре лишними не бывают, и лишний голос в молитве Всевышнему не помеха. А только – ну, скука ведь! Работы столько же, сколько в деревне, а то и по-боле, живи впроголодь, Господа пустым брюхом славь, и до скончания века без бабы. Это же помыслить страшно! С бабой, конечно, тоже житья никакого, однако и без неё как-то непривычно – вроде недостает чего-то...

Неохота стало Петрухе Замятину в пустынь идти. А ежели не в пустынь, тогда куда же? В лес, на большой дороге с кистенем баловать? Да нешто это жизнь? Петруха – мужик тихий, семейственный. Какой из него душегуб?

Вот и выходило, что вперёд идти боязно, а назад нельзя: всей деревней засмеют, света белого невзвидишь. Да что засмеют-то – это ладно. Староста, хромой пёс, поди, уже тиуну в ухо нашептал, что Петруха в бега подался. А с тиуном шутки плохи – и слушать ничего не станет, разложит на бревне и, коли сильно осерчает, того и гляди, насмерть запорет.

А тут ещё, как на грех, обеденная пора незаметно подкралась, и вострубили у Петрухи в пустом животе трубы иерихонские, да так громко, что он даже испугался: а ну, как лихие люди услышат али зверь какой? И припомнилось – это уж, как водится, одно к одному, – что войско басурманское, без боя с ратного поля уйдя, по сей день где-то недалече бродит, от православного воинства хоронится. А чем к татарве в полон угодить, лучше уж, ей-богу, тиунов кнут.

Совсем Петруха остыл, по свету бегать передумал и решил, пока не поздно, домой, в деревню, воротиться. Может, староста догадался не сразу к тиуну бежать. Так оно, глядишь, и обойдётся. А ежели не надоумил Господь старого пса, что не по всякому чиху к тиуну с доносом спешить надобно, так ему же, старосте, и хуже. Тиун в деревню прискачет, а Петруха – вот он! Будто и не уходил вовсе. Мало ли чего он мужикам, на их насмешки осерчав, сгоряча сказанул! Вот и выйдет, что старосте за навет да за тиуново беспокойство – по уху, а Петрухе, может, и ничего. Ну, ожгут разочек кнутом для острастки, так ему не привыкать.

А что смеяться станут, это тоже ничего – посмеются и перестанут. Стыд не дым, глаза не выест...

И только он, стало быть, собрался назад поворотить, как видит – идёт по дороге монашек. Годами млад, станом тонок, волосом светел, а ликом кроток, аки ангел или блаженный. Подрясник на нём пыльный да обтрёпанный, скуфьи и вовсе не видать – потерялась где-то, не иначе, потому как инок – не мужик, ему одеяние с себя пропивать по чину не положено. Идёт себе, пыль босыми ногами вздымает, а под мышкой – узелок.

Подошёл монашек поближе, и видит Петруха, что лицо да руки у него сажей перемазаны и что гарью от него разит так, словно он не с молебна, а напрямиком из чёртова пекла на дорогу выскочил.

От особ духовного звания, ежели не в праздник, Петруха Замятин старался держаться подальше – просто так, на всякий случай, по стойкой мужицкой привычке не будить лихо, пока оно тихо. Однако теперь, пребывая в печали и тревоге, а равно соскучившись по человеческому лицу, решился с монашком заговорить. Тем более что вреда от него, агнца Божия, никакого не предвиделось – сразу видно, что телом слаб и что в случае нужды Петруха его одной рукой в бараний рог свернуть сумеет.

А ещё подумалось: вот он, знак-то! В самом-то деле, откуда бы это монашку посреди леса взяться? Да ещё в то самое время, когда раб Божий Петруха как раз передумал в монастырь идти! Нет, неспроста он тут появился. Видно, перед Богом и взаправду все равны, и зрит он, Отец небесный, свысока, и до каждого человека, до всякой травиночки малой ему дело есть. Приметил он, стало быть, Петрухины терзанья да и подал ему, неразумному, верный знак: вот она, дорожка торная, по ней ступай, как раз ко мне и придёшь. А баба твоя – тьфу! Сам подумай нечесаной своей холопьею головой: что такое баба супротив Царствия Небесного? Прах и перхоть, сосуд греховный и боле ничего!

К тому же случай подвернулся знающего человека расспросить: как оно там, в обители, какова на вкус монашеская доля, не лют ли отец-настоятель и примет ли, не прогонит ли беглого мужичонку. А ежели что не так, не беда: монашек-то как раз в сторону Петрухиной деревни шёл, так что Петрухе от попутного разговора никакого убытка не предвиделось: чем идти да молчать, невесёлые думы думая, ей-богу, лучше с человеком словечком переброситься, будь он хоть трижды монах!

Ан не тут-то было. Монашек, Петруху увидав, испугался поначалу, отпрянул, но после, хорошенько его разглядев, поуспокоился – уразумел, стало быть, что Петруха – человек мирный, православный христианин и что лиха от него ждать нечего. Однако в ответ на Петрухины речи словечка единого не проронил – молчит яко рыба, только глазищами голубыми хлопает. И не поймёшь, то ли обет на нём, то ли он таким уродился – бессловесным. Хотя от рождения немые – они ведь и не слышат ни бельмеса, а этот, по всему видать, русскую речь разумеет:

спросишь его о чём-нибудь – кивнет либо, наоборот, головой из стороны в сторону помотает. Слышит, стало быть. А что не говорит, так это, может, с перепугу или хворь какую Господь наслал. А то, чего доброго, могли и язык вырезать. Лихих-то людей по свету немало: что татары, что бояре – все единым миром мазаны, все для мужика на одно лицо, и всяк норовит власть свою над смердом показать. Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие!..

Ну, двинулись они, стало быть, по дороге. Идут рядом, и Петруха к монашку всё с расспросами пристаёт. А только много ли у бессловесного выпросишь? Спросил его, издали ль идёт, – плечами пожимает: дескать, не так чтоб шибко далеко, но и не больно близко. По обету, что ли, в дорогу-то выправился? Головой трясёт – нет, не по обету. А чего тогда? Молчит, аки пень еловый, и улыбается этак жалостливо – ну, ровно собака, которая всё как есть понимает, а сказать не может.

Махнул Петруха рукой и тоже замолчал – не выходит разговора. Вот тебе и знак! Как хочешь, так его и понимай, что умеешь, то и думай. Может, Господь его этаким манером предупредить хотел: не ходи в монастырь, дурья голова, совсем худо будет! В деревне тебя просто слушать не хотели, а в монастыре, гляди, и вовсе без языка останешься. Потому как человеку место своё ведать надобно и всю жизнь одного держаться: ежели родился смердом, крепостным холопом, смердом и умри. И лучшей доли искать – сие есть дело, Господу неугодное. Она-то, доля, может, и лучшая, да не твоя, чужая, а стало быть, и добра тебе от неё не будет...

Идёт Петруха, думы свои невесёлые думает, а сам искоса на монашка поглядывает – не так на монашка, как на узелок, что у него, убогого, под мышкой. Есть-то хочется, а в узелке, очень может статься, хлеба краюха, а то и что-нибудь посытнее. А только чем дольше Петруха на этот узелок глядел, тем яснее ему становилось, что съестного там, под пыльной домотканой рядниной, ни крошки нет. Плоский был узелок, на обрезок доски похожий, а может, на книгу. Книгу Петруха только в церкви и видал – батюшка, отец Иннокентий, по ней молитвы читал. Так той книгой, ежели над головой поднять сумеешь, быка-трёхлетку насмерть зашибить можно. Истинно батюшка сказывал: в вере великая сила... А узелок, что монашек с собой нёс, против батюшкиной книги тонковат казался – ну, доска и доска, чуть поменее локтя в длину, шириной вершков в восемь да с полвершка в толщину.

Вот тут-то и вспомнилось Петрухе Замятину, что старушка, калика перехожая, про Коломенское ратное стояние баяла – про монашка, станом тонкого да ликом светлого, да про икону, кою он из дерюжного узелка вынул, чтоб басурманов ею стращать. И будто пелена у него с глаз упала. Ну, ясно, думает, это же он самый и есть! И в узелке у него не хлеба краюха и не карась вяленый из монастырского пруда, а чудотворный образ святого Георгия Победоносца!

Напал тут на Петруху священный трепет. Да только трепетал Замятин недолго. Мужичье сословие к трепетанию не приспособлено – шкура толстовата, умишко тёмный и никакой тонкости переживаний. Да и некогда мужику трепетать, ему в поле работать надобно, а там один только трепет и бывает – это когда от непосильной работы к вечеру все поджилки, сколько их в человеческом теле есть, мелкой дрожью трясутся. Такого-то трепетания Петруха в своей жизни наелся досыта, только до небесных священных материй трепетание сие никакого касательства не имело. А которое имело, то, едва возникнув, сию же минуту и прошло, и явилось ему на смену неуёмное любопытство, через кое Петруха Замятин бед и гонений претерпел не менее, а то и более, нежели за свой предлинный язык. Захотелось ему неотменно на чудотворную икону хотя бы единым глазком полюбоваться – авось охранитель земли русской святой Георгий и за него, смерда неразумного, заступится, вразумит и старосту, дурня хромого, и тиуна, пса боярского, и самого боярина Гаврилу Лексеича, дабы не были они, яко волки рышущие, а стали бы, яко агнцы... Тем более что монашек хоть и безмолвен, а все ж Божий человек и, ежели правильно к нему подойти, замолвит перед святым Георгием верное словечко за раба Божьего Петра.

Петруха Замятин, хоть и смерд, мужик сиволапый, коему предназначено до скончания века сохой землю ковырять, был умом скор да сметлив. Другой бы на его месте до такого нипочём не додумался, не догадался бы, что за диво монашек под драной дерюгой прячет, а Петруха всё как есть в два счёта сообразил и сразу прикидывать начал, как бы это ему половчей к монашку подкатиться, чтоб тот не заартачился, дал бы ему святой образ узреть. Не драться же с ним, в самом-то деле! Бока ему, убогому, намять – работа нехитрая, да нешто так у святых заступничества просят?

Ясно, решать дело надлежало добром. Петруха уж и слова подбирать начал, да только, видно, не было ему на роду написано чудо узреть – впутался сатана, помешал доброму замыслу осуществиться. Только Замятин рот открыл, чтоб окольную речь повести – о том, стало быть, как тяжко ему на свете живётся, сколь горестей да невзгод он со всех сторон невинно претерпевает и до чего ему, горемыке, заступничество сильного святого необходимо, – как послышался издалека, из-за поворота дороги, тяжкий конный топот и железный лязг.

Петрухе смотреть, кого это там несёт, недосуг – ему, холопу беглому, кто б ни ехал, всё едино пропадать. «Бежим!» – монашку крикнул да и в кусты. Проломился, как полоумный вепрь, через малинник, одежду порвал, лицо да руки ветками колючими исцарапал – ну, ровно с кошкой подрался – и напрямки через лес бежать кинулся.

А топот лошадиный за спиной всё ближе и ближе. Тяжко топочут, вразнобой – знать, целый отряд, и слышно, что торопятся. Вскарabкался Петруха мало не на карачках на бугорочек, обернулся через плечо, видит – скачут верхами с десятков боярских дружинников. Кольчуги на них железные и железные же островерхие шишаки – так на солнышке огнём и горят, будто не душегубы это, за беглым смердом вдогон посланные, а пресветлая небесная рать беса поганого воевать едет. В руке у каждого пика острая, на боку меч, и щиты к седельным лукам приторочены – ну, ровно и вправду на войну собрались, а не мужика беззащитного ловить. И тиун здесь же – кольчуга яркая, поверх кольчуги плащ бархатный, что у твоего князя. Борода густая, русая, рожа румяная, губы красные, глазищами сверкает – ну, вылитый Георгий Победоносец, только вместо копья, коим змия разить, в руке кнут сыромятный, свинцом заплетенный, – тот самый, которого отведав, не всяк мужик жив оставался.

– А ну, стой! – на весь лес кричит и коня осаживает.

Петруха от ужаса присел – думал, заметили. Ан нет – не ему кричат, монашку. Только тут мужик уразумел, что монашек его не послушал, а может, и не понял вовсе, что деется, – где стоял, там, на дороге, и остался. Решил, надо думать, что ему, Божьему человеку, вреда от православного воинства не будет.

Оно-то, может, и так, монаха обижать грешно, да только Петрухе-то Замятину от этого не легче! Спросят его сейчас, не видал ли беглого холопа, он всё как было и обскажет. Что ж с того, что не разговаривает? Под тиуновым кнутом и мёртвый заговорит, не то что немой. Да ему и говорить-то ничего не надо. Рукой покажет – туда, мол, тать побег, коего ловите – тут Петрухе и конец.

Не стал он досматривать, чем дело кончится, а пригнулся пониже и так, в три погибели согнувшись, кинулся куда глаза глядят.

Убежал он в тот раз от боярского тиуна с дружинниками и домой, сказывали, более не возвращался. Что с ним после стало, про то никому не ведомо. Русь – она ведь большая, леса да реки в ней никем не считаны, просторы не мерены. Звери дикие да лихие люди по тем лесам рыщут, татарва да разбойники – мудрено ль человеку пропасть? Мог, конечно, и к святой обители прибиться, а мог и в глухой дубраве избу своевольно срубить, найти себе какую-никакую бабу да и жить с ней, покуда медведь не задрал или не набрали на его избёнку княжеские дружинники.

* * *

Всяко могло быть, а чего не ведаем, про то и врать не станем. Да и не про Петруху Замятина сказ, а вовсе про другое. Главное, что убежал он в лес, так и не сведав, тот ему повстречался монашек, про коего калика переходящая сказывала, или другой какой. И иконы не видал. А мог бы, поелику монашек ему повстречался истинно тот. Мелькнула, стало быть, удача и пропала, яко рыба, из рук ускользнув. Упустил – на себя пеняй, раз дураком криворуким уродился.

Так что, ежели хорошенько помыслить, оно и неплохо, что Петруха про икону наверняка не знал. Чего не знаешь, того не жалко, сие издревле известно. Кабы ведал, что и монашек тот самый, и икона при нём, после, поди, совсем извёлся бы, до конца дней своих казнясь: зачем тянул, чего дожидался, почто в ноги святому человеку не пал?

А монашек был и вправду тот, про которого слух до Петрухи Замятина дошёл, а через Петруху – до всех мужиков деревеньки Луговая. Зря они земляку не поверили, и зря он через неверие их пострадал, из родного места в дикий лес убежав, зверям на съеденье.

Монашек же, о коем речь, ежели к нему приглядеться, был мальчонка мальчонкой – отрок невинный, от роду годков тринадцати, не более. Одно название, что монах. Его, сироту горькую, богомаз из Свято-Тихоновой пустыни, брат Илларию, одна на пепелище нашёл. В те поры дело это было самое обыкновенное: прошла через те места Орда, дома пожгла, людей кого побила, кого в полон угнала, скотину, какая была, тако ж; как дитя малое уцелело – сие ему непостижимо. Не иначе мать успела неразумного спрятать – сама погибла, а семья своё сберегла, спаси её Господь.

Ну, стало быть, привелось брату Илларию зачем-то через те места идти, и видит он: сидит у околицы сгоревшей деревни мальчонка в одной рубахе и ревмя ревет – есть-пить ему охота, да и страшно опять же, вот он и заходится. Сжалился инок над мальцом, взял сироту на руки, корку хлебную ему сунул, чтоб замолк, и в пустынь принёс.

Игумен, отец Варсонофий, хоть и духовного звания человек, крепко тогда осерчал. Пустынь-то лесная, убогая, земляца родит еле-еле, а зверь, какой был, весь почти что от татарвы подале к северу ушёл – самим-то незнамо как прокормиться, а тут ещё лишний рот. Рот-то имеется, его кормить следует, а рук, вишь, нету – не отросли ещё по малолетству. Ну, то бишь руки-то на месте, как не быть, однако, пока их, руки эти, к работе можно будет приставить, не одно лето пройдёт. В кладовых шаром покати – ну чем, спрашивается, огольца кормить? Хоть ты титьку ему суй, а какое в мужеской монашьей титьке для мальчика пропитание? То-то, что никакого.

Делать, однако же, нечего – не выбросишь ведь крещёную душу за ворота волкам на съедение! Крестик-то у малого на шее висел – стало быть, окрестить его успели. А хоть бы и не успели, всё одно живая душа, и губить её непозволительно, тем более особе духовного звания. Покряхтел отец Варсонофий, поясницу почесал да и молвил: сам, дескать, принёс, сам его при себе и держи, и корми, стало быть, сам как знаешь. А ежели в содомском грехе тебя замечу, на Господа уповать не стану – возьму грех на душу, сам тебя покараю, да так, что тебе небо с овчинку покажется.

Ну, это-то он вгорячах сказал, для острастки. У брата Иллария грешных мыслей отродясь в голове не водилось, и игумен его ни в чём таком всерьёз заподозрить не мог. И что выкормит богомаз мальчика, ни минутки единой не сомневался, ибо знал: Илларию последний кусок отдаст, сам недоест, а мальчонку худо-бедно выкормит.

Нарекли мальчика Илией, в честь Ильи-пророка. Тоже ещё была докука: малец-то крещёный, и имя у него, стало быть, имеется. А как узнаешь, у кого спросишь? Сам-то не скажет – мал ещё, едва-едва лепетать начал. «Тятя» да «мамка» – вот и весь его разговор.

Ну и стал сиротка при брате Илларию в его келье жить. Монах краски трёт, молитвы творит да образа с Божьей помощью пишет, а малец тут же, при нём, сидит – глядит да слушает. Ну и ручонками, понятно, что ни попадя хватает – плоску с кармином так плоску, стило так стило, кисть так кисть. Так, бывало, перепачкается, будто брат Илларию об него день-деньской кисточки свои вытирал. Как только подрос, начал воспитателю своему в иконописном деле пособлять – где колер разотрёт, где водицы принесёт, где доску иконную грунтом покроет. Да так-то ловко у него получалось, что со временем брату Илларию иных подмастерьев и не надобно стало. И ничего мудрёного нет, что при таком воспитании отрок уж на пятом году сам к кистям потянулся.

Дав мальчонке подрасти, брат Илларию стал его помаленьку своему ремеслу наущать. Учил как мог – бывало, что и розгами, ибо каноны церковные, от византийцев цареградских унаследованные, нарушать никому не дозволено, а отрок – он отрок и есть: того и гляди, ошибётся, а то и от себя что пририсует. Говорит, для красоты. Я те покажу красоту, богохульник!

Розги ли пошли впрок, или Господь сироту благословил, или другая какая причина, а только работа иконная шла у Илейки день ото дня лучше – так, что брат Илларию скоро и вовсе ворчать да лаяться перестал, а только вздохнёт, бывало, тихонько, потреплет отрока по белобрысой макушке и подумает, что пора ему, старому, на покой – душа к Господу, а кости в земельку, чтоб трава-мурава на монастырском погосте веселей зеленела. Показывал он доски, отроком Илией писанные, отцу-игумену, и тот тоже зело доволен остался. Брат Илларию-то уж и впрямь состарился. И глаз стал не тот, и рука нетверда – того и гляди, опоганишь святой лик сослепу да от немочи стариковской. В самый раз замену себе искать, а замена – вот она, тут как тут. Будто Господь, в положение его войдя, нарочно ему сиротку подкинул, чтоб не осталась Свято-Тихонова обитель без своего богомаза.

Добрый мастер из Илейки получался, только уж больно чудной – истинно блаженный. Тихий, молчаливый, а на тринадцатом году – виданное ль дело в таком-то возрасте! – пристал к отцу Варсонофию: благослови, батюшка, на принятие святого молчального обета. Игумен сперва только отмахивался, потом ругаться начал, а после, видя, что отрок в своём намерении твёрд, помолясь со всем старанием Господу, дал ему, настырному, просимое благословение. К слову сказать, братия, даже Илейкин наставник Илларию, этого почти и не заметила: отрок и без обета был молчалив, слова лишнего не скажет, да и не лишнее, бывало, хоть клещами из него тяни.

Брат Илларию тем временем всё старился и зимой, аккуратно на Крещение, отдал Богу душу. Отпели его в монастырском храме, выбили в мёрзлой земле на погосте яму и схоронили по христианскому обычаю. И никому невдомёк, что был брат Илларию последним иноком Свято-Тихоновой пустыни, кому Господь дозволил своей смертью умереть.

Стал Илия в иконописной мастерской полноправным хозяином. Подмастерья не брал – по юношеской своей резвости сам со всеми делами управлялся. Да и на что молчальнику подмастерье? Как им командовать – нешто пальцем в надобное тыкать? А ну как бестолковый попадётся, тогда как же? Это ведь не работа, а одна морока и греховное гневление.

Аккурат после Пасхи окончил Илия первую свою икону, которую без брата Илларию под-сказки да наущения, сам, по своему разумению, с Божьей помощью писал – образ святого Георгия Победоносца. По его, так вроде ладно вышло, а вот что игумен скажет? Отец Варсонофий, в келью взойдя, долго на икону смотрел, бороду перстами перебирал, потом осенил отрока крестным знаменем и молвил: «Быть тебе, Илия, на всю Русь знамениту». Так-то при-ятно. Правда, ошибся отец Варсонофий, да его вины в том нет: человек предполагает, а Гос-подь располагает, ибо Ему сверху виднее, кто на что горазд и как чьей судьбой распорядиться.

Месяца с той поры не прошло, как долетела до пустыни весточка, что воеводу Ярослава со всей его дружиной татары в лютой сече насмерть убили. И не успела братия заупокойный

молебен отстоять, как пожаловали гости – хан Батый, на Коломну да на Москву с войском идя, ненароком прямо на обитель наехал. И каким лихим ветром его, нехрестя, туда занесло?

Понаехало их видимо-невидимо, а в обители за деревянным с башенками частоколом три десятка монахов. Самому молодому, Илейке, тринадцать, самому старому, отцу Варсонофию, за семьдесят. Вот тебе и войско. Да ещё, как на грех, жара несусветная. Что стены, что крыши тесовые – всё сухое, как трут. И в колодце старом, что на подворье как раз на случай осады вырыт, воды на доньшке. Ясно, что пропадать; неохота, конечно, да что ж тут поделаешь? Ударили в набат, разобрали братья мечи, топоры, рогатины да луки со стрелами, вышли на стену – погибать.

Тут-то вот и отозвал отец Варсонофий Илью в сторонку. «Беги, – говорит, – на Москву и всем, кого по пути встретишь, про татар сказывай. Пускай боронятся люди, а кто не может, те пускай прячутся. Ноги у тебя лёгкие, птицей долетишь».

Оно, конечно, вряд ли игумен и впрямь думал, что Илей-ка, отрок слабосильный, скорей воеводского конного гонца до Москвы добежит. А уж про то, что на нём обет молчания, и вовсе разговора нет – чего об нём говорить, когда и так всё ясно? Слукавить хотелось отцу-игумену, спасти хотя бы одну невинную душу от лютой смерти, да лукавить-то он как раз и не умел: не требовалось это ему в суровом монашеском житье, вот, до старости дожив, душой-то кривить и не выучился. Да Илие-отроку много-то и не требовалось: сам душой чист да невинен яко агнец, что ему ни скажи – всему верит. Тем более сказано сие было не кем-то, а отцом-игуменом – первейшим, наиглавнейшим для него на всём белом свете человеком.

Иной про сего отрока молвит: разумом-де слаб. Ну, может, и не без того. Однако для приятия Божьей благодати много ума не требуется. Ибо сказано: «блаженны кроткие, ибо возысятся они над своими гонителями, и блаженны нищие духом, ибо они наследуют землю».

Словом, спорить Илия не стал, а медлить некогда было. Только и успел, что в келью забежать да икону, самолично писанную, в узелок завернуть – авось пригодится. Взяли двое монахов, которые покрепче, вервие, сделали на конце его петлю, в ту петлю посадили отрока да и спустили его с Божьей помощью со стены. Илейка в сухую траву пал, добежал, яко зверек лесной, на четвереньках до опушки, чтоб татарин с коня не заметил, и уж там, в кустах, встал во весь рост и назад оглянулся.

А позади-то небо уже от стрел татарских потемнело. И ведь не просто стреляют, а сперва стрелу подожгут, и видно, что в скольких-то местах крыши уже дымятся – занялись, стало быть, вот-вот пламенем полыхнут. Монашек, однако, духом не пал, ибо свято верил в чудодейственную силу молитвы. Вера горами двигает; так игумен сказывал, а ему, поди, виднее. Перекрестился монашек да и побежал, куда ему было велено – на Москву.

До самого стольного града он, однако же, не добежал. Как и следовало быть, гонцы воеводские его далеко обогнали, и, Коломны не доходя, набрёл Илия-отрок на поле, где русская рать с татарвой биться затеяла. Как он под татарский разъезд не угодил, сие одному Богу ведомо. Видно, хранил его Господь для Своей нужды, а Господь – это тебе не девка-ключница: Он, ежели взялся кого беречь, так непременно сбережёт. По крайности до срока.

Непонятно, опять же, как он ухитрился, никем не остановленный, промеж полков пройти. Оно, конечно, подле войска всегда туча разного народишка крутится – калики переходные, гусяры-бояны, побирушки, блаженные да юродивые. Сюда же и духовного звания особы, кто за отчий дом радеет и стрелы татарской не страшится. Однако вокруг полков бродить – это не то, что поперёд головной дружины, мимо князей с боярами в одиночку через поле на врага идти. Как его, болезного, никто за шиворот не ухватил – уму человеческому непостижимо. Единственно провидением Божьим сие объяснить возможно.

А по какой такой причине он, отрок слабосильный, перед ратью вышел, об чём думал и чего желал, и вовсе неведомо. Ежели было ему видение или, скажем, голоса какие слышались, про то лишь он один знал. А могло и так случиться, что забрёл он туда просто по недоумию

– шёл себе, глазел, рот разинув, на щиты, доспехи да хоругви, покуда один в чистом поле не очутился. И то сказать: он, отрок, монахами в пустыни взращённый, такого превеликого людского числа отродясь не встречал, даже если всех до единого человечка, кого он допрежь того хотя бы издалека видел, в одно место разом согнать. Железо на солнышке блистает, хоругви трепещут, копыя, как лес, над головами кольшутся, златотканые княжки уборы так глаза и слепят, и шум, как на ярмарке: гусяры всяк своё выводят, юродивые непонятное блажат, сотники выкрикивают зычно, оружие бряцает... От всего этого, ежели впервой, не то что мальчонка – взрослый муж растеряется. А уж если главою скорбен, так и подавно.

Так-то складно выходит: брёл, стало быть, малец, разумом обделённый, да и выбрел ненароком, куда выбредать ему не надо бы. Дурачок, одним словом. Блаженный. А только мнится, что на его месте десятку умных не поздоровилось бы. Гляди: от татар убёг, в дороге неблизкой с ним никакого лиха не приключилось, и к месту, где две рати на бой сошлись, он, убогий да неразумный, без ошибки вышел, да ещё и аккурат в то утро, когда сборное московское войско с татарами встретилось. И там ему ничего не сделалось, будто заговорённый он, ей-богу. Теперь гляди дальше. Кто его надоумил, из монастыря уходя, икону с собой взять? Обуза ведь, ежели разобраться, да и для лихих людей приманка. И почто он с этой иконой вперёд войска вышел, зачем татарам её показывать стал? Смерти искал? Или это тоже, скажете, от неразумия?

Ну, пускай так – от неразумия. А Батый со своей тьмой с поля почему ушёл? Тоже от Илии-отрока неразумия? Или рати, которая и числом и умением его тьме уступала, убоюлся? А может, все-таки Господь к сему делу десницу приложил через чудотворный образ святого Георгия Победоносца, который отрок, душой чистый да безгрешный, на поле брани вынес?

Этак, ежели неразумием одним да случайностью всё на свете объяснять, далеко зайти можно. Ведь в обыкновенной людской жизни разум – это что? Меряют его как? А очень просто меряют. У кого хоромы богаче да злата больше, кто к князьям да боярам ближе, тот и разумен, тому и хвала, и честь, и уважение. А кто, в рубище одетый, по земле бредёт, Господа славит и, сам с утра не евши, последней черствой коркой с нищей старухой делится, тот у вас, стало быть, дурень, главою скорбный. А святые угодники меж тем со злата не едали, зелена вина в теремах высоких не пили и к лику святых причислены не за хитрость лисью, не за волчью ненасытную жадность и не за тугую мошну, а единственно за муку, кою во славу Господа приняли. Не об теле брэнном они пеклись, а о бессмертной душе, и были и при их житии вокруг такие, кто в них перстом тыкал, камнем швырял и вот этак же сказывал: дурачок-де юродивый, и в голове у него пусто, яко в глиняной свистульке. Не сказал им никто, что это не дурачок, а святой, Господом избранный, – они и не знали. А сказал бы кто – не поверили б. Так же и мы в неразумии своём чуда Господнего узреть не можем, даже когда нас, как кутят слепых, прямо носами в него тычут: да вот же оно, гляди!

Глава 2

Свершилось, стало быть, чудо, отвернуло полчище татарское и без боя восвояси ушло. Куда оно после подевалось, опять же, никому не ведомо. Сказывали люди, что видали в лесу верстах в полутора от Москвы, на берегу страшного Ревучего болота, татарских мохнатых лошадёнок – осёдланных, но одних, без людей, и неспутанных даже. Нешто потоп Батый-хан вместе со всею своею ордой? Сомнительно, конечно, только куда ж они в противном случае подевались? Вот и говори после этого, что чудес, мол, на свете не бывает. Бывают, да какие!

Да леший с ней, с татарвой, не об ней разговор. Илия-отрок, о коем в суматохе да в сутолоке опять все забыли, с поля ратного невредимым ушёл и икону с собой унёс. И пошёл он восвояси, в Свято-Тихонову пустынь, потому как более идти ему было некуда. Игуменов наказ он, как умел, сполнил, и какой с него спрос, ежели у коня, на коем воеводин гонец скакал, ноги длиннее и бежит он шибче? Без Илейки весточка до Москвы долетела, и слава богу. Он, Илейка, своё дело сделал: как мог, пособил Господу чудо явить, отвратить от стольного града татарскую напасть, и будет с него – пора обратно в келейку, к кистям, краскам да доскам иконным, кои его уже, поди, заждались.

И не подумал даже, простая душа, что обитель, в коей неполных три десятка монахов оборону держали, могла супротив ханского войска не устоять. Так-то в Господа веровал, что не засомневался даже. Мнилось ему, что чудом ли, простым ли Божиим попусшением, а только цела обитель и братья с отцом-игуменом тоже целы. Не могло иначе выйти, однако же вышло. Явился он к обители, а её-то и нет! Одни головешки горелые дымятся, а среди них то там, то здесь кости обугленные, и в иных наконечники татарских стрел застряли. Вокруг пепелища вороньё татар доклёвывает, коих монастырская братия, допрежь заживо сгореть, с Божьей помощью побить успела. То-то трапеза чёрным птахам, то-то раздолье! Им-то всё едино, что православного христианина клевать, что косоглазого нехристя. Ворон – тоже тварь Божья, и ему, как всем, пропитание надобно. Вот и выходит, что даже от татарина польза, хоть и невеликая, а всё ж имеется.

Восплакал отрок, на эту картину глядя, однако делать нечего: он-то живой, а раз живой, так, стало быть, надобно как-то жить. Повернулся он к пепелищу спиной и пошёл себе обратно, в Москву, чая попроситься в первую, какая на пути встретится, монашескую обитель.

На этом-то пути, на другой день уже, он Петруху Замятина и повстречал. Сам-то по себе Петруха – это бы ещё ничего, кабы не гнался за ним боярский тиун с десятком дружинников. Да и это бы ещё полбеда, кабы не Илейкин обет молчания, нарушать который он ни в коем разе не собирался. Богу ведь он его давал, не людям, и не людям его от сего обета освобождать.

Только тиун-то, Василий сын Антипов, по прозванью Камыш, про обет ничего не знал. Да если б и знал, одному Богу ведомо, как бы он тогда себя повёл. Не зря ведь говорят: каков поп, таков и приход. А ещё люди сказывают, что собака, которая при хозяине долго живёт, на него похожа становится, как две капли воды. Вот и с Васькой Камышом то же вышло: боярин Гаврила Алексеич Долгопятый был лют, а Камыш и того лютее уродился. Говорили, будто прижил его Гаврила Алексеевич в молодые годы от дворовой девки, оттого и выделял. Правда сие или бабьи сказки, нам неведомо, а только на правду крепко смахивало: кто боярину не угодил, того Камыш готов был зубами порвать раньше, чем хозяин перстом на обидчика укажет. Ну, пёс, как есть пёс, кровоалчущий цепной кобель.

Выехал он, стало быть, из-за поворота, злой, истинно как пёс – староста деревенский, смерд глупый, от трапезы бражной его оторвал. Трапеза эта на дворе у боярина Гаврилы Алексеича уж который день без перерыва длилась – с той самой минутки, когда боярин невредимым из Коломенского стояния воротился и сел победу над ворогом праздновать, коего и близко не видал. Известно, когда хозяева крепко гуляют, псам дворовым тоже немало всякой всячины

перепадает – бывает, что и палкой по хребту, а все-таки чаще кусочек лакомый, который хозяину уж и в глотку нейдёт. Посему Васька, Камыш по прозвищу, верный хозяйский пёс, ныне был мрачен, яко грозовая туча, и скорбен не только главою, но и чревом – и то и другое, казалось, готово было лопнуть от хозяйского угощения и кусками по дороге разлететься. А тут ещё верхами ехать, пропади оно всё пропадом! И тряско, и тошно, и на кой ляд, спрашивается, оно всё сдалось?

Беглого холопа Петруху Замятина тиун знал очень даже хорошо – и в лицо, и по имени, и по повадке. Глупый был мужик, истинный пустомеля. Не было в нём надлежащей серьёзности, и поверить, будто этот пустобрёх и впрямь подался в бега, Камышу было трудно. По его, Камыша, разумению, беглец, вдоволь находившись по лесу и проголодавшись, должен был непременно вернуться домой, в деревню, дабы, получив полагающееся ему наказание, жить далее, как все добрые христиане, пахать земельку да плодить ребятишек.

Однако хозяин, Гаврила Алексеевич, ныне пребывал во хмелю, а посему был гневлив превыше собственного обыкновения и мог за малую провинность вышибить из нерадивого слуги дух. Камыш видел, как это бывает: даст одна кулачищем в висок, и готово дело, представился раб Божий, поминай как звали. Себе такой доли Камыш не хотел, а посему беглого смерда надлежало непременно догнать, скрутить и, пожалуй что, отвезти прямо к боярину – пусть сам решает, как с ним быть. Заодно и ему и гостям развлечение. Передохнут маленько, над глупым смердом глумясь, а то ведь так-то и до смерти упиться недолго.

Камыш разослал верховых по всем дорогам, а сам с десятком дружинников поскакал по той, что вела в сторону Свято-Тихоновой пустыни. Рассудил он так: староста со слов беглеца сказывал, что тот думал в монастырь податься. Монастырей, ясно, в округе хватает, и чем ближе к Москве, тем их больше. Но это всё обители богатые, крепкие, покровительствуемые и посещаемые знатным да большим людом. На беглых там смотрят косо, да и опасность попасться на глаза хозяину, от коего бежал, там куда больше, нежели в тихой лесной пустыни – такой вот, к примеру, как Свято-Тихонова обитель. Стоит она в лесу дремучем, далеко от большой дороги, и настоятель её, отец Варсонофий, нравом своим широко известен: беглых он не выдаёт и скорее даст себя заживо сжечь, чем поступится хотя б единой буквицей Божьего Слова ради мирской суеты. А что суета сия есть законное наследственное право боярина Гаврилы Алексеевича владеть душами своих холопов, на что у него и жалованная грамота имеется, это отцу Варсонофию – тьфу и растереть.

Так что беглец, ежели в голове у него не один только ветер, непременно должен был к отцу Варсонофию под крылышко податься. Крепко на него осерчав за прерванную трапезу и за гнилую бражную отрыжку, коей страдал во время скачки, Камыш твёрдо порешил, что изловит беглеца во что бы то ни стало. По дороге пропустит – добежит конно до обители и будет там, под стенами, ждть хоть месяц, покуда тать самолично к нему в руки не пожалует.

Узрев впереди себя мирно бредущего босоногого монашка, Камыш возрадовался. Монашек, да ещё и отрок, – человек мирный, и даже такой дурной заяц, как этот Замятин, его не испугается и в кустах от него таиться не станет. Стало быть, если беглый мужик этой дорогой прошел, монашек его непременно должен был встретить. Если же не встречал, то, стало быть, глупый смерд в иную сторону подался, и сыщёт его кто-то другой – неважно кто, главное, что сыщёт всенепременно.

– А ну, стой! – зычным басом воскликнул Камыш, осаживая коня.

Конь захрипел, вздымаясь на дыбы и роняя с удила клочья пены. Дрянный оказался жалованный боярином конь – и скакали недолго, и не шибко быстро гнали, а он уж притомился. Что с того, что Камыш тяжёл? На то и конь, чтоб тяжести возить, а есть да пить Камыш и сам умеет...

Монашек, ясно, встал, как ему и было велено. Тут дружинники наскракали, окружили со всех сторон, поводья дёргают, горячат коней для пущего страха. А монашку хоть бы что – стоит и глядит васильковыми глазами на железных боярских конников. И ни страха в этих

глазах, ни любопытства особенного – ну ровно дитя малое, годков шести от роду, мотыльков разглядывает, кои у него перед лицом выются. И любо ему вроде, и понимает уже детским своим умишком, что от этой лепоты ему ни вреда, ни пользы, а так, поглазеть только, всё равно что на радугу над речкой.

– Мужика на дороге не видал? – спрашивает Камыш.

Грозно спрашивает, чтоб сразу ясно было: с ним, боярским тиуном, шутки плохи.

А монашек стоит себе, смотрит на него и ни словечка не молвит. Ну хоть бы головой качнул, показал, что вопрос слышал, а так непонятно даже – может, он вовсе глухой?

– Мужика, – громко, истинно как глухому, повторил Камыш и рукой вдоль бороды провёл, мужика изображая. – Нам его сыскать велено, сей тать есть боярина Долгопятого беглый холоп. Ты глухой, что ли, отрок?

Монашек головой в ответ покачал – не глухой, стало быть.

– А чего тогда молчишь? – уже сердясь, хмуро и с угрозой спросил Камыш. – Аль язык проглотил? Видал беглого холопа или не видал? Сказывай, пёс, не то кнута отведаешь!

Молчит монашек и, глаз не опуская, на тиуна глядит. Кажется, даже моргать перестал.

Ну, тут Камыш, понятно, осерчал. Он, вишь, привык, чтоб перед ним шапки ломали и ни в чём ему не перечили, а тут такая оказия – мальчонка, соплёй перешибить можно, глядит на него, как на дерево, и, чего у него спрашивают, не говорит. Ровно издевается, ей-богу!

А у него, у Камыша, слово с делом редко расходилось. Коли помянул кнут, так и знай – вот-вот змея сырмятная о трёх подвитых свинцом хвостах по чьей-то спине гулять начнёт. Дружинники, которые поближе, коней своих попятити, видя, как тиунова рука кнотовище тискает, – не ровён час, заденет на замахе-то, как раз с коня носом в пыль кувыркнёшься.

А монашек молчит – не то не понял, про что его спрашивают, не то сказывать не хочет. Да оно и понятно: кто таков Васька Камыш, ему, убогому, неведомо, а лиха от своих, православных людей он сроду не видывал и ждать его не привык. Думал небось, пострашает его тиун да и отпустит.

Не на таковского напал. Размахнулся Камыш, свистнул кнут в воздухе и по пыльной монашьей одежке хлопнул. И хлопнул-то негромко, да Илие-отроку и того хватило. Много ль ему, слабосильному, надобно? Да ещё, видать, попало, как говорится, по голому – упал монашек с одного удара и, не охнув даже, дух испустил.

Может, конечно, и случайность. Не повезло человеку, что тут скажешь? А может, дело своё на этой грешной земле сделав, был он молодым на небо призван – нарочно, чтоб зря промеж людей не мыкался. Истинно благая доля – знать, зачем ты в сей мир послан, и, назначение своё осуществив, со спокойной душой, без мук в мир иной отойти!

* * *

Тут, грешным делом, даже Ваське Камышу не по себе сделалось, не говоря уже о дружинниках, которые с ним были. Холопа насмерть забить – дело нехитрое, обыкновенное, хотя даже такое простое дело может боярину не понравиться: как-никак, а холоп – его, боярина, наследственное имущество, и портить его почём зря никому не дозволено. Но тут всегда найдётся, чем хозяйский гнев утишить: и убыток копеечный, и перед барином оправдаться, смерда убитого облыжно оговорив, не больно хитро.

Но тут ведь не холоп предерзкий помер, а монах! Хоть и отрок, хоть и видно с первого взгляда, что с головой у него непорядок, а всё ж, как ни крути, Божий человек. То-то, что Божий. Не боярский, стало быть. И ответ за него держать придётся не перед Гаврилой Алексеевичем, а сами понимаете, перед кем. А небесный-то судия, поди, пострашнее здешнего, земного!

Оробели дружинники, и Васька Камыш оробел. Да только куда податься, когда дело уж сделано? Велел тиун своим людям спешиться, монашка мёртвого в лес оттащить да и завалить валежником в какой-никакой промоине – пусть себе лежит, раз так вышло. И строго-настрого всем наказал про это лихое дело молчать, яко камни придорожные. «А ежели кто хоть словечко обронит, – сказал, – того я своей рукой вослед за сим татем отправлю».

Уже и тать. Ну, ясно же: такая это порода, что у них, кто слабее, тот и тать, на том и вина. Опять же, когда монашек на землю мёртвым пал, икона, что к груди прижимал, из-под рядна выскользнула и в пыль дорожную легла. И воззрился на душегубов снизу, с земли, светлый ликом божественный воитель, святой Георгий Победоносец. Вот тебе на всякий случай и оправдание готово: монашек-то, гляди, икону из святой православной обители покрал, и выходит, что он ещё хуже татя – святотатец он, вот кто! На божественное руку поднял, вероотступник! А раз так, туда ему, стало быть, и дорога.

Один из дружинников икону с земли поднял и, от пыли рукавом бережно обтерев, Камышу передал. Камыш на икону перекрестился, глянул раз и в суму седельную сунул. Подхватили дружинники монашка под руки и поволокли его, болезного, с дороги в лес – хоронить, да не так, как добрых христиан хоронят, а как скотину бессловесную, коя от старости либо от мора пала.

А Камыш призадумался. Он-то, конечно, слышал про чудо, кое Господь под Коломной явил. И про монашка слышал, и про святую чудотворную икону, которая вражье войско вспять поворотила. Сразу-то, сгоряча, конечно, не сообразил, да и мало ли на свете монахов да послушников! А теперь, поостыв да на икону глянув, соображать начал: не иначе тот самый это монашек, про коего люди сказывали. Боярин-то, Гаврила Алексеевич, во хмелю всё больше про свои ратные подвиги кричал; по его выходило, что, кабы не он, Москва б уже ясным пламенем горела и ханский пыльный сапог у князей да бояр на загривке твёрдо стоял. Да только в ополчение он не один ходил, а с дружиной, вот дружинники-то, с поля брани воротившись, и обсказали, как всё на самом деле было.

Было о чём призадуматься. По всему выходило, что он, Василий Антипов сын, только что вгорячах взял на душу великий грех: своею рукой спасителя земли Русской, Господом избранного, насмерть погубил.

И, видно, мысль эта не ему одному в голову пришла. Дружинник, что ближе всех стоял, бороду почесал и говорит:

– Что-то мне, Василий Антипыч, томно. Не тот ли сие монашек, не та ль икона, коей татарва под Коломной убоялась?

– Думай, что говоришь, дурья башка! – напустился на него Камыш. – Много ль ты святости в этом тате бессловесном углядел? Что ж, по-твоему, святой Георгий от татарской стрелы его уберёт, а от моего кнута уберечь не сумел? Да разуи ты глаза-то, погляди, откель он идёт! Не от Москвы – в Москву!

– И то верно, – помыслив, согласился дружинник.

– Верно, а то как же, – Камыш ему говорит. – Из Свято-Тихонова бредёт, больше неоткуда. Прослышал, по всему, что под Коломной-то было, образ из монастырского храма уворовал и на Москву подался – подаяния просить да народ небылицами смущать. Помяни моё слово, нынче там таких чудотворцев тьма-тьмушая появится.

– И верно, – опять согласился тугой умом дружинник.

Верно-то верно, а только сомнение у Камыша всё же осталось. За то время, что боярин Долгопятый в своём терему бражничал, победу празднуя, лёгкий на ногу человек запросто мог от Коломны до Свято-Тихоновой пустыни добежать и назад воротиться. Однако что ж теперь – самому в монастырь идти, грехи замаливать? Тем более что Господь его тут же на месте за душегубство не покарал, а значит, греха никакого не было, а было всё так, как Камыш сию

минуту дружиннику сказывал: монашек убитый – никакой не монашек, а тать, прохиндей и святотатец, возжелавший обманом возвыситься и славу чудотворца присвоить.

Об одном только Камыш не вспомнил: Господь в неизъяснимой мудрости своей карать по-всякому умеет. Божья кара необязательно в виде молнии с громом приходит или свистящего сабельного замаха. Гром да молния – это больше для страха. Ну, вроде Господь перстом грозит: дескать, одумайтесь, грешники, не то я вас!.. А настоящая кара частенько тихой оказывается, на первый взгляд неприметной. Татары хоть и нехристи, а истинно глаголют: ежели Бог (по-ихнему Аллах называется) решил кого покарать, Он его первым делом разума лишает.

Вот и Камышу Он разум застил, и, коль разума на время не стало, полезло из боярского тиуна природное его неразумие. Решил он, стало быть, боярину Гавриле Алексеичу ничего про монашка не говорить, будто того и вовсе на свете не было. А икону, что при убитом находилась, утаить и присвоить – уж больно она Камышу глянулась, ибо написана была красно и глаз своей новизною радовала.

Сказано – сделано. Схоронив как пришлось невинно убиенного монашка, пали они сызнова на коней и поскакали дорогой в сторону Свято-Тихоновой пустыни. Верхами на сытых лошадях скакать – не то, что с пустым брюхом каменистый шлях босыми ногами мерить. Никого по пути не встретив и беглого холопа не сыскав, к закату до пустыни добежали. Глядь, а там уж не пустынь, а истинная пустыня – пепелище, мёртвыми телами усеянное, и смрад стоит такой, что хоть святых выноси.

Поворотили они восвояси и, немного от бывшей обители отъехав, остановились, чтоб усталым коням роздых дать. Да и не скакать же, в самом деле, ночью через лес! Что татары пустынь пожгли – сие, конечно, известие важное, однако не настолько, чтоб коней насмерть загонять и шею себе впотьмах на лесной ухабистой дороге сворачивать.

К тому же беглого ночью упустить проще пареной репы. Он небось тоже не дурак в потёмках по лесу блудить. Найдёт себе какую-никакую нору да и заляжет там до утра – как раз мимо проскачешь, если поторопишься. А утречком, на рассвете, когда он из норы-то вылезет, его, глядишь, и на дороге повстречать можно будет.

Так-то распорядившись, улёгся Камыш на сухой мох под старой сосной, меч от бока отстегнул и в плащ завернулся. А перед тем как уснуть, размечтался, как чудотворный образ святого Георгия в доме у себя в красном углу повесит, как станет на него молиться и какую бесценную защиту дарует ему до скончания века сей могущественный святой. А про то, что икона, разбоем добытая, добра разбойнику не принесёт, даже и не вспомнил.

О многом тиун, бесом попутанный, забыл. Забыл он, к примеру, что боярину Долгопятому сказки баять – мёртвое дело. И не то чтобы так уж прямо и забыл – про Гаврилу Алексеича забудешь, как же, – а просто понадеялся, что на этот раз пронесёт. Врать-то боярину в глаза он вовсе не собирался, а собирался, наоборот, промолчать. Про монашка сведать хозяину неоткуда, а значит, и спрашивать про это Гаврила Алексеич не станет. А про что барин не спрашивает, про то холопу и говорить не след. Вот и выйдет, что и врать не надобно, и всё шито-крыто.

А вот о чём Камыш и впрямь накрепко забыл, так это о самом главном. Боярина-то обмануть хоть и непросто, однако можно всё-таки. Бога зато не обманешь – Он-то всё прозревает, обо всём ведает и всякое лыко в строку ставит.

Прискакали они, стало быть, назавтра, за полдень уже, обратно в боярскую усадьбу. С пустыми руками прискакали – не сыскали беглого, как в воду канул. Так разве же все лесные стежки-дорожки, все овраги да буераки обшаришь? Обширна и велика есть земля Русская, и мнится порой, что ширь сия чрезмерна, ибо через неё, ежели чего позарез надобно, так не враз и сыщешь. А бывает, и часто, что и вовсе не сыскать.

Так Камыш боярину и доложил: не сыскали, мол, и весь сказ. Не вели казнить, вели миловать. До самой Свято-Тихоновой обители доскакали. Нет его там, и обители нету – татарин пожёг, супостат окаянный, креста на нём нет.

Боярин, его выслушав, ни капельки в лице не изменился. Некуда ему меняться, он и так, в полдень от хмельного забытья очнувшись, на крыльцо чернее тучи вышел. Ликом бледен, как покойник, под глазами мешки, хоть ты по годовалому поросёнку в каждый запихивай, борода ключьями во все стороны торчит, а в ней – крошки хлебные да рыбы кости. Соломы в ней, в бороде, только и не хватает да ещё иголок сосновых, чтоб совсем уж на разбойника лесного стал похож. Видно, что муторно ему после вчерашнего пирования и что не терпится поскорее сызнова за стол пасть.

Однако тошно ему или нет, а что надобно, Гаврила Алексеевич всегда замечал.

– А что это, – говорит, – у тебя такое в седельной суме?

Камыш глаза опустил и обмер: приоткрылась сума-то, и высунулся из неё уголочек иконы, которую он через душегубство добыл. Вот она когда грянула, Божья-то кара!

А только это ещё не кара была, а так, самое начало. Цветочки это были, а ягоды после поспели.

Камышу бы тут, такое дело видя, пасть боярину в ноги да и рассказать всё как было. Тем более что ничего такого невиданного да неслыханного вовсе и не было. Ну убил. Так ведь с кем не бывает? Убил-то без злого умышления, ненароком, от большого рвения, как это часто меж русскими служилыми людьми случается.

Но нет. Господь его ума последнего лишил, бес попутал, алчность под монастырь подвела. Боязно стало Камышу в убийстве признаваться, а пуще того стало ему жалко икону отдавать, которую он за ночь уже своей считать привык. Да крепко привык, прямо душой прикипел – зубами начни рвать, всё едино не оторвёшь. Будто икона та ему по наследству от пращуров досталась, ей-богу.

И стал тогда Камыш выкручиваться, ровно и впрямь рассчитывал боярина Долгопятого перехитрить. Будто не знал, кому зубы заговаривает, кому байки плетёт, с кем, холоп неразумный, лукавит. Гаврила Алексеевич, хмельной ли, трезвый ли, любого насквозь видел и ещё на три аршина вглубь под ногами. Никогда Камыш этого не забывал, а на сей раз забыл. И давай плести: будто бы, до пепелища, что от обители осталось, доскакав, узрел он среди чёрных горелых головешек да седого пепла неземной несказанный свет. Подошёл он будто бы к месту, откуда сие предивное сияние исходило, и там середь угольев, что ещё остыть не успели и дымом горьким курились, отыскал икону, коей огненная напасть несколько не навредила. И сказал ему будто бы неземной бестелесный глас красоты, благости неопишумой, дабы взял он сей чудотворный образ и поставил его навеки в своём дому и был бы с потомством своим образом сего хранителем и сберегателем.

Дворня боярская, кто эти речи слышал, шапки с нечёсаных голов снимала и ну креститься! Как же, про чудо им бают! И икона та же, что на поле под Коломной, – святой Георгий Победоносец, змия поганого попирающий. И в огне она не сторела, а перенеслась чудодейственным способом из Коломны в разорённую пустынь – не иначе доставил её туда ангел, который с ней перед ратью вышел и супостата в бегство обратил. И с речами своими ангел Господень обратился не к кому попало, а к Василию Антипову сыну, по прозвищу Камыш, а стало быть, оный Камыш есть великой святости человек, хотя по виду да повадкам его о том ни за что не догадаешься. Вот и выходит, опять же, что всякая власть от Бога – даже такая, как Васька Камыш.

Да только боярин Долгопятый – это тебе не дворня, его на мякине не проведёшь. В Богато он, конечно, веровал, как умел, а коли в Бога веруешь, так уж, будь добр, и чудес Его не отрицай. Однако же странно ему показалось, что Господь перстом Своим указал не на особу духовного звания, не на князя и не на боярина (вот хоть бы и на него, Гаврилу Алексеевича),

а на Ваську Камыша – холопа, во грехе от дворовой девки зачатого и нравом лютого, яко злой татарин.

Оборвал он тиунову речь, до конца не дослушав, и к дружинникам, что с Камышом беглого холопа ловили, да не поймали, оборотился.

– Так ли было? – спрашивает.

– Так, истинно так, – вразной отвечают.

А сами глаза отводят. Народ-то простой, воинского звания. С мечом, с копьём, с луком ли, с топором либо, опять же, с конём необъезженным всяк из них совладеет, а вот кривду всесильному боярину прямо в очи говорить – тому не обучены.

Поглядел Гаврила Алексеевич, как они мнутя, бороду в горсть забрал и глаз этак нехорошо сощурил.

– Ладно, – говорит, – это мы сей же час сведаем, так было или не так. Артамошка! – кричит. – Дыбу готовь, клещи и иной наряд, какой у тебя имеется!

Гаврила Алексеевич, боярин Долгопятый, по доброте душевной всегда под рукой заплечных дел мастера держал. Назывался сей аспид кровожадный Артамошкой и был не сказать, чтоб таким уж великим мастером своего ремесла. Однако дело своё любил и спуску никому не давал. Да и потом, дыба – она и есть дыба: на неё просто издалека поглядеть, и то язык сам собой развяжется.

Но дружинникам, всему десятку, что по лесу за Петрухой Замятиным гонялся, в этот раз издалека дыбой полюбоваться не довелось – раз уж Гаврила Алексеевич решил душу отвести, пришлось поближе с нею познакомиться. И Камыша, хоть он и доводился боярину побочным отпрыском, чаша сия не минула – повис как миленький и так голосил, что в версте оттуда, на деревне, бабы вздрагивали и с перепугу крестились. Да и не одни только бабы, мужики тоже.

Они бы, болезные, и без дыбы всю правду сказали. Но говорить пришлось на дыбе, и рассказали они Гавриле Алексеевичу всё, как на самом деле было. Всю правду боярин узнал, только не было в той правде чести ни ему, ни тиуну, ни храброй боярской дружине.

Посему Ваську Камыша боярин порешил сразу же, как его с дыбы сняли. Да и из того десятка мало кто до зимы дожил – кто, от пыток не отойдя, дома на лежанке преставился, кто в речке потоп, кого на охоте медведь заломал. И кто его знает, сам ли боярин их всех извёл, чтоб лишнего не сболтнули, или была сие, в самом деле Божья кара за великий их грех.

И ведь, казалось бы, чем они провинились? Перед Господом – это да, был грех. А боярину-то что худого сделали? Да видно, и впрямь была в той иконе чудодейственная сила, через которую всякий, единожды её в руки взяв, по своей воле выпустить уж не мог – сам, единовластно, желал чудом обладать, в одиночку под десницей Победоносца укрываться. Может, потому Гаврила Алексеевич этак не по-людски себя повёл, а может, и по какой иной причине – кто ж его, боярина, ведает? А только всё истинно так и было, а не так, как у Долгопятых в дому из рода в род пересказывают. Брешут они, яко псы, а почто брешут, о том долго гадать не надобно: совестно им, вот и брешут.

Глава 3

Никитка Зимин зачарованно слушал рассказ старого дядьки Захара о делах, что творились в здешней округе, в знакомых с малолетства местах, двести с лишком лет тому назад. Воображение у десятилетнего отрока было живое, и всё, о чём говорил своим хрипловатым, надтреснутым по старости голосом дядька Захар, Никитка видел, будто наяву. Скакали на взмыленных гнедых лошадях, блистая железными шишаками, дружинники в кольчужных длинных рубахах, брёл по дороге босой, оставшийся без приюта монашек, почти что Никиткин ровесник, и бежал через лес, не разбирая дороги, деревенский пустозвон Петруха. Стоял на резном высоком крыльчке, широко расставив ноги в мягких сафьяновых сапогах, боярин Гаврила Алексеевич, в Никиткиных грёзах как две капли воды похожий на нынешнего своего потомка и наследника боярина Феофана Иоанновича Долгопятого, и дюжие дворовые мужики, заломив руки, волокли в пыточный застенок ни в чём не повинных дружинников. Бегали над пышущими жаром углями мелкие вороватые огоньки, и калились в жаровне, понемногу наливаясь спелой пшеничной желтизной, страшные палаческие клещи. И над всем этим, как ясное солнце над кишасим кровожадными зверьми дремучим лесом, витал невыносимо прекрасный образ всадника на белом вздыбленном коне, пронзающего копьём свитого в тугие кольца змия.

– Дядька Захар, а дядька Захар! – сказал Никитка, когда утомлённый длинной быльё старик умолк, сомкнув воедино вислые густые усы с седой клочковатой бородой. – А откуда тебе это всё ведомо?

Ключница Матрёна, которая что-то искала в большом, изукрашенном резьбой деревянном ларе у стены (а скорей, не так искала, как слушала, про что бает Захар), при этих словах повернула к ним широкое, разрумившееся от усилий найти то, чего в ларе не было, лоснящееся лицо. Баба она была дебелая, налитая, вся в крепких, выпирающих даже из-под широкого сарафана округлостях, и на вид казалась твёрдой, как набитый каменными мортирными ядрами мешок. Нравом Матрёна славилась суровым и хмурым, так что Никитка ещё помнил своё удивление, когда, ненароком её коснувшись, обнаружил, что она вовсе не твёрдая и холодная, как каменный идол, а, наоборот, мягкая и тёплая, даже горячая, наподобие перины, долго лежавшей на лежанке русской печи.

– То-то, что неоткуда, – неодобрительно ответила она на заданный Захару вопрос. – Брешет, старый дурень, чего сам не ведает, зазря только молодого барина страшает.

Старый дядька, который уже прилачился было задремать, вскинул седую голову, как боевой конь при звуке трубы.

– Кто брешет, я? – возмутился он. – Да про то всей округе ведомо! Прапрадед мой, царствие ему небесное, жену себе как раз из Луговой взял, а её-то дед аккурат в ту пору у Долгопятого боярина конюхом служил.

– И прадед твой брехал, и жена его пустое болтала, – непримиримо стояла на своём сердитая ключница. – Много ль конюху ведомо!

– Да уж поболее твоего! – не сдавался Захар. Его вислые усы сердито дрожали, длинный шрам через всю щёку, оставленный саблей крымчака во время давнего похода, заметнее проступил на потемневшем от прилившей крови морщинистом лице. – Скажи ещё, что и иконы нету!

Начинающаяся ссора Никитку несколько не беспокоила. И не потому, что он был жестокосерд или неразумен по малолетству, а потому, наоборот, что давно уж понял: старый дядька и ключница бранятся не по злобе, а потому лишь, что никак не могут промеж собой решить, кому из них он, Никитка, больше люб. Каждый из них при всяком удобном случае так и норовил переделать сделанное другим на свой лад. Ежели, к примеру, Захар молодому барину подушки на ночь взобьёт, так Матрёна после непременно придёт и, ворча притворно, взобьёт их сыз-

нова, по-своему, и по-своему же, не так, как дядька, уложит в изголовье. А ежели Матрёна, скажем, Никитке мимоходом яблочко сунет, так Захар, в свой черёд, недоволен. Скажет: червивое-де, кислое, – отберёт и другое даст. А смешней всего, что яблочко-то, может, и другое, а всё с того же дерева.

– Отчего ж нету, – говорила тем временем ключница. – Есть икона, как не быть? Родовая, старинная, от прадедов по наследству. Сказывают, явилась она боярину Гавриле Лексеичу на пепелище Свято-Тихоновой пустыни...

– Ага, ага, – преисполняясь яду, закивал седой головой Захар. – Это вот самая сказочка и есть, коей Долгопятые из рода в род всех, кому слушать не лень, потчуют. Да этого бражника, волчища презубастого, ежели б он надумал в пустынь-то явиться, Господь скорей молнией бы по макушке приласкал, чем иконой чудотворной его, аспида, одаривать! А ведомо ль тебе, что Гаврила Лексеич образ сей чудотворный всю жизнь до самого своего последнего денёчка за занавеской таил? Так ни разу на него и не взглянул, молитвы святому заступнику не вознёс. А почто, знаешь? Боялся потому что. Ты, баба неразумная, мне не перечь, я-то ведаю, где правда, а где кривда!

– А ведаешь, так и помалкивай, – неожиданно тихо и, как показалось Никитке, печально сказала Матрёна. – Только что ведь сказывал, до чего долгий язык да короткий ум доводят, а и сам туда же!

Задиристые нотки из её голоса пропали без следа, и Никитка, хоть и не понял толком, о чём речь, нутром почувал: шутки кончились.

То же, по всему видать, понял и Захар. Шибко почесав в бороде узловатой коричневой рукой, он шумно, на всю горницу, вздохнул и так же негромко обронил:

– И то правда.

– То и нечего дитяти в уши ересь вводить, – победно заключила Матрёна и, громко стукнув напоследок тяжёлой крышкой ларя, тучной павой выплыла из горницы.

Разговор вышел какой-то непривычный, недосказанный, будто дворовые знали что-то такое, чего Никитке, дворянскому сыну, знать не полагалось. Недосказанность эта ему не понравилась, оставила в душе неприятный осадок. Да и кому понравится, когда взрослые, пускай себе и крепостные, говорят про тебя так, словно тебя здесь нет?

Обдумав всё это, как умел, Никитка совсем уже было собрался пристать к Захару с новыми расспросами – что, да как, да почему Матрёна вдруг решила, что ему таких вещей слышать не надобно, – но тут заметил, что старый воин, не раз и не два ходивший с батюшкой, Андреем Савельевичем, воевать крымчаков, разомлев на лившемся в подслеповатое слюдяное оконце утреннем солнышке, уже заклевал носом.

«Это важно», – подумал Никитка.

А и впрямь, важно. Дядька через минуту заснёт, да так, что его и пушкой не разбудишь. Матрёна-ключница ушла по своим делам – дел-то у неё, слава богу, хватает. Отца уж неделю, как вызвали в полк, а матери Никитка не помнил – она умерла, когда ему было всего два года от роду. Стало быть, приглядывать за ним некому.

Запахло свободой, и сейчас же придумалось, на что сию нежданную свободу надлежит употребить. Захаров рассказ всё ещё переливался внутри головы яркими красками. Краски эти были мрачноваты, но мальчишки во все времена и во всех народностях единым миром мазаны: всем им чем страшнее да таинственней, тем лучше. В Захаровой же были хватало и загадок, и страху, а посему её надлежало немедля, пока не забылось, пересказать верному человеку. Тем более что безвинно убиенный богомаз Илейка очень сильно кое-кого напоминал – не тонким станом, не золотыми волосами и, уж конечно, не светлым ликом, который Никитке представлялся иконописным, прямо-таки ангельским, а своей способностью к рисованию.

Стёпка Лаптев с малолетства имел склонность, которая ему, крестьянскому сыну, была, в общем-то, и ни к чему: любил он, грешным делом, малевать всякую всячину – когда прутиком

на песке, когда острым камешком на бревенчатой стенке сарая, а пуше всего – углем на белёном боку русской печки. За это последнее был он не раз и не два нещадно таскаем за уши; чубу тоже доставалось, однако занятия своего Стёпка не бросал, и мало-помалу все вокруг к этой его странности привыкли и драться да браниться не то чтобы совсем перестали, но как-то поутихли – притомились, что ли? А покуда они привыкали, Стёпка подрос, набил руку, и случалось уже так, что тятка, примерившись было съездить ему по уху за испорченную печку, застывал с занесённой для удара рукой, а потом крякал, шибко чесал в затылке и молчком уходил по своим делам, забыв задать сыну заслуженную трёпку.

Отрок он был роста немалого и, несмотря на юный возраст, изрядной силы. Сила эта, употребляемая пока что лишь для мелкой помощи по хозяйству, угадывалась и в прямом развороте по-мальчишечьи костлявых плеч, и в ухватке, с которой делал любую работу, и даже в том, как упрямо Стёпка наклонял лобастую русую голову, когда тятка, опять застав его с углем подле печки, брался за сыромятные вожжи.

Братьев да сестёр Стёпка Лаптев не имел. Почему так, знать ему не полагалось. Нельзя сказать, чтоб мамка с тяткой не старались. Старались, да ещё как, Стёпка своими ушами слышал, как они по ночам пыхтят да охают, однако ничего у них не выходило – ну ровно вся их сила в одного Стёпку ушла. Он-то, конечно, крепким уродился, да только мало ему от того было радости. Работы в крестьянском хозяйстве вечно невпроворот, а рук-то всего три пары, и одна из них – Стёпкина. Так что в ответ на разговоры дворянского сына Никитки Зимина про то, что быть ему надлежит богомазом, и никем более, Стёпка только щекой досадливо дёргал: чего из пустого в порожнее переливать, когда ясно, что не бывать этому? Иконному письму учиться надобно; стало быть, родителей брось и ступай в монастырь. Монастырь-то – это ладно, а вот мать с отцом как же? Не молодеют ведь они, а работы в хозяйстве не убавляется. Никиткин отец, Андрей Савельич, конечно, барин не злой и даже добрый, особливо ежели с иными сравнивать, однако и он за Стёпкиного тятку в поле не выйдет и худую крышу на избёнке поправлять не станет. Посему иконопись – это, конечно, дело хорошее, богоугодное, однако и на земле кому-то работать надобно.

Никитка всё это знал, поелику про то меж ними говорено было не единожды, и дрались они из-за этого, к единому мнению не придя, тоже частенько. Однако же позволить Стёпке зарыть в землю немалый, как ему представлялось, талант, тоже не хотел – жалко было до слёз. Кабы Андрей Рублёв не пошёл в иноки, а остался бы землю сохой ковырять, кто бы Святую Троицу написал, кто бы храмы Божьи дивными росписями размалёвывал, Господа славя? Или взять того отрока, Илейку, про которого дядька Захар сказывал. Он, поди, тоже мог бы в пустыни дрова колоть да капусту поливать, если б со всем усердием ремеслу не обучился.

С похвальной в его неразумном возрасте рассудительностью найдя в рассказе старого дядьки то зерно нравоучения, которое одно только и годилось для посева в не шибко чувствительной душе приятеля, Никитка утвердился в намерении сей же час, не откладывая, пересказать Стёпке всё, что услышал сегодня от Захара. Убедившись, что дядька крепко спит, движимый оным возвышенным намереньем, отрок выскользнул за ворота и, незаметно для себя самого мысленно приукрашивая и без того не слишком достоверную быль выдумываемыми на ходу красочными деталями, побежал кривой и пыльной деревенской улицей к дому Лаптевых.

* * *

Денёк у Стёпки нынче выдался куда как хлопотный. Завтра с утра тятка затеялся топить баню, а сие означало, что Стёпке надобно натаскать туда воды. Помимо того, ему, как и во всякий иной день, надлежало с утра наполнить речной водицей здоровенную дубовую бадью, из коей вечером, на закате, он же (а кто ещё-то, коли других детей в семействе нету?) каждый божий день поливал в огороде грядки.

Посему, будучи крепко занят, он ответил на приветствие набежавшего дворянского сына Никитки лишь коротким кивком да сопением, с коим тяжёлое дыхание вырывалось из его груди через упрямо сжатые губы. Он как раз волок от реки в горку два тяжелых, блестящих от стекающей по бокам воды деревянных ведра. Вода плескала через край при каждом шаге, смывая с босых Стёпкиных ног беловатую пыль, которая немедля садилась снова, на мокром сразу превращаясь в тёмно-коричневую грязь. Солнце поднялось уже высоко, становилось по-настоящему жарко; на лбу у Стёпки поблёскивали бисеринки пота, а работы впереди оставалось, что называется, начать и кончить: воды для бани надобно много, а огород, особенно в жару, – это такая прорва, что, сколь в неё ни лей, всё мало будет.

Мигом смекнув, что к чему, ибо рос близко к земле и понимал крестьянскую нелёгкую работу, Никитка отобрал у приятеля одно ведро и засеменял рядом, подстраиваясь под широкий Степанов шаг. Малый он был не слабый, хотя, конечно, не такой здоровяк, как крестьянский сын Стёпка. Однако ведро оказалось уж больно тяжёлое, да ещё и идти приходилось в горку, так что, начав пересказывать Захарову быль, Никита сын Андреев очень скоро запыхался. Красочность и в особенности нравоучительность его повествования от этого сильно претерпели, так что, в очередной раз сбившись, он решил временно погодить с рассказом. Да и то сказать, где это видано, чтоб уважающий себя сказитель, пересказывая старинную быль, ещё и воду вёдрами таскал?

– И зачем это так нехорошо устроено, – пыхтя и отдуваясь, спросил он, – что с горки всё время налегке, с пустыми вёдрами бежишь, а ежели с полными, так непременно в горку?

– Кабы было наоборот, – малое время подумав, рассудительно сказал Стёпка, – так вода из речки сама бы в огород текла.

– Это бы хорошо, – дивясь, как это ему, дворянскому отпрыску, не пришла в голову такая простая мысль, протянул Никитка.

– Чего ж хорошего? – всё так же рассудительно возразил Степан. – Потопло бы тогда всё в огороде-то через барскую твою лень. А нет, так пришлось бы вёдрами оттуда воду вычерпывать и обратно в речку таскать. И опять в горку.

Ответа на это у Никитки не нашлось. В огороде они опорожили вёдра в гигантскую, вкопанную в землю под ветхим навесом бадью, где впору было самим купаться. Глядя на неё, Никита вспомнил, как отец Афанасий, приходской священник, сказывал про дочерей древнего царя Даная, прозванных, по отцу, данаидами. Оные данаиды, будучи многогрешны, в наказание были поставлены наполнять водою бездонную бочку, и, заглянув в бадью, ещё и до половины не полную, дворянский сын Никита Зимин на миг ощутил себя одной из злополучных данаид – только, понятное дело, му-жеска полу.

Тем временем Стёпка, чтоб меньше бегать вверх и вниз, к реке и обратно, отыскал в сарае ещё одно ведро. Пока он там шарил, Никитка заметил прислонённое к стене под навесом коромысло – потемневшее до глубокого коричневого оттенка и до тусклого масляного блеска отполированное бесчисленными прикосновениями рук.

– А ты чего коромысло не взял? – поинтересовался он, невольно подражая неторопливой манере, в которой всегда разговаривал приятель. – С коромыслом-то оно сподручнее, а то вёдра, будь они неладны, бесперечь в ногах путаются да по коленкам бьют.

– Плечи саднит, – лаконично ответил Стёпка. – Не больно-то с руки, когда деревяшка по больному трёт.

– А давай, я тогда возьму, – предложил Никитка.

– Ну, нешто, возьми, – не стал спорить Степан.

– А что с плечами-то? – с некоторой неловкостью спросил Никитка, забрасывая на плечо коромысло и подхватывая вёдра. Неловкость он испытывал оттого, что знал: ответ на его вопрос висит на стене в конюшне и зовётся сей ответ сыромятными вожжами. Без Степанова

тятки тут явно не обошлось, и провинность, за которую Стёпка понёс наказание, была, надо думать, та же, что и всегда: опять он где-то без спросу нахудожничал.

– Царя на печке намалевал, – без особенной охоты признался Стёпка, подтверждая догадку товарища.

– Иоанна Васильевича? – ужаснулся дворянский сын.

– Зачем Иоанна? Просто царя. Ну, навроде сказочного. Верхами.

– И что? Драться-то зачем же? Впервой, что ли, печку перебеливать?

– Вот и я тятке говорю: зачем? – Стёпка тяжко, по-взрослому, вздохнул. – А он мне: почто, говорит, змеёныш, у тебя царь на свинье верхами скачет? И – вождями...

Никитка споткнулся, едва не скатившись кубарем с косогора вместе с коромыслом, на котором, покачиваясь, висели пустые вёдра.

– На свинье? Царь?!

– Да не свинья это, конь! – с обидой воскликнул Стёпка. – Нешто я виноват, что на печке места не хватило? Вот и вышли у коня ноги коротковаты, а тятка кричит: свинья...

Невзирая на суровые мучения, кои совсем недавно претерпел закадычный друг, выдержав сие было Никитке уже невмочь: он фыркнул, прыснул, опять споткнулся и, не устояв, покатился по травянистому откосу к речке, хохоча во всё горло и временами ойкая, когда тяжёлые вёдра, нагнав, поддавали куда придётся.

Они бродили вверх и вниз по косогору ещё часа два. Поначалу Никитка ни о чём не мог думать, кроме мук несчастных данайд, кои сейчас были ему весьма близки и понятны. Даже воспоминание о едущем верхом на свинье царе уже не веселило так, как вначале. Но постепенно он пообвык, втянулся и, почуяв второе дыхание, вернулся к прерванному рассказу о том, как живший два с лишком века назад боярин Долгопятый, пращур нынешнего Феофана Иоанновича, стяжал чудотворную икону святого Георгия. Памятуя о своём благонравном намерении наставить приятеля на путь истинный, основной упор рассказчик делал на фигуру убиенного отрока Илии, разрисовав и изукрасив сию фигуру сверх всякой меры – хоть ты к лику святых его причисляй.

На Стёпку, впрочем, сие украшательство видимого впечатления не произвело.

– Эка новость. Долгопяты – они все до единого такие. Сколь волка в овечью шкуру ни ряди, он всё одно крови алчет, – сказал он, оставив в стороне вопросы иконного письма и жизненного предназначения, коему, дабы Бога не гневить, надобно неукоснительно следовать.

Никитка почувствовал себя слегка задетым, ибо старательно приготовленное им для приятеля поучение пропало втуне, оставшись незамеченным. Стёпка явно выделил из рассказа совсем иное, а именно роль в тех давних событиях боярина Долгопятого, каковая роль, похоже, подтверждала нелестное мнение крестьянского сына Степана Лаптева о старинном боярском роде Долгопятых.

Сам Никитка никакого своего мнения по этому поводу не имел. Соседа своего, Феофана Иоанновича, он видывал редко – много, если три раза за всю жизнь наберётся, да и то издалека. Отца Никиткиного, худародного служилого дворянина Зимина, владевшего всего-то двумя небольшими деревеньками и обитавшего в тереме, мало чем разнившимся от крестьянской избы, Долгопятый не жаловал. До ссор, понятно, не доходило (станет ближний к царю боярин с худародным ссоры затевать!), однако, как не раз замечал Никитка, отец его, Андрей Савельевич, Феофана Иоанновича также недолюбливал. Другие-то соседи к Долгопятому так и льнули, рассчитывая через него царской милости добиться, а отец – иное дело. При встрече кланялся с надлежащим почтением, но и только.

О причинах этой глухой вражды Никитка по малолетству мог только догадываться. Ну вот слышал он, к примеру, краем уха от отцовской немногочисленной дворни, будто Феофан Иоаннович давненько уж метит у Андрея Савельевича деревеньку оттяпать – вот эту самую, в которой Стёпка живёт, да и сами Зимины тоже. Всяко пробовал, да ничего не вышло: дере-

веньку сию, равно как и соседнюю, Андрею Савельевичу сам государь за верную службу пожаловал. Тогда стал Долгопятый у Никиткиного отца имение, царём жалованное, торговать, да, видно, ничего не выторговал: на государственной службе кормление небогатое, особенно когда не воруешь, так что деревенька, не прогневайтесь, самим пригодится.

Этого Никитка, положила руку на сердце, понять не мог. Ну на что Долгопятому ещё одна деревня? Своих будто недостает! Вон они, долгопятовские земли, прямо за речкой – конца-края не видать, а всё мало. И чего гневаться, ежели не сторговались? Где это видано, чтобы то, что самим надобно, по принуждению за бесценок продавали?

Редко, а всё ж таки бывает, что, когда отцы в ссоре, сыновей водой не разольёшь. Да взять хотя бы того же Стёпку. Отец у него крестьянин подневольный, Зиминых холоп, а хозяйский сын с ним дружит. Так с чего бы мальчикам одного, дворянского, звания не дружить? Им-то, поди, делить нечего!

Однако же дружбы с отпрыском Долгопятого, названным по деду Иоанном, у Никиты не вышло. Да и знакомства настоящего, можно сказать, тоже не было. Ну, виделись пару раз, в лицо друг друга знали – живут-то по соседству, как не знать! Был Ванятка Долгопятый Никитки всего на год старше, однако же нос драл так, словно это не отец его, а он сам в боярской думе заседает, пособляет государю державой править. Так и подмывало ему по этому задранному носу наподдать, да так, чтоб надолго запомнил.

И тут вот, как на грех, стоило Никитке об этом подумать, всё и закрутилось.

Спустились они со Стёпкой опять к реке за водой. Таскать уж всего ничего осталось – ходки три, не больше. Наполнили, стало быть, данаиды свою бездонную бочку, слава тебе Господи! Ещё чуток поднатужиться, и можно будет пойти поиграть, а то и упросить Стёпку, чтоб намалевал чего. Ловко всё же это у него получается! Жалко, что невмочь ему в монастырь идти, иконописному делу наушаться.

Только стали воду набирать, глядь, а на том берегу из кустов Ванька Долгопятый лезет. Да не один, с компанией – три, его самого не считая, дворянских недоросля, соседские, стало быть, сыновья. Ванька среди них самый младший, однако держится за главного – ясно, опять боярством своим кичится. Соседи-то хоть и дворяне, однако до Долгопятых им далеко, вот они спины и гнут – старшие перед отцом, отроки перед сыном.

Ну и, конечно же, Долгопятый Ванька Никитку с коромыслом на плечах мигом углядел, узнал – речка-то воробью по колено, её переплюнуть запросто можно, ежели не против ветра, – и ну куражиться! Ясно, смешно ему, что дворянский сын наравне со смердом воду из реки в огород таскает.

– Какие, – кричит, – вы дворяне, когда на вас холопы воду возят?

Подпевалы его, конечно, не отстают – орут наперебой, хохочут, свистят, улюлюкают. Потом затеяли грязью кидаться – зачерпнут подле самого берега со дна, где пожиже, и швыряют. Да всё норовят в лицо, чтоб обиднее было. Никитка, понятное дело, терпеть не стал – обозвал Долгопятого свиньёй в золочёном кафтане, боярином с поротым задом (ему, Ваньке, от отца крепко за любую провинность доставалось, так что тут Никитка аккурат по больному местечку угодил), зачерпнул полную ладошку грязи и в Долгопятого – шмяк! Так-то ловко получилось, весь кафтан заляпал, и на лицо брызги попали.

Краем глаза заметил, что Стёпка в баталии не участвует – стоит тихонечко в сторонке, руки опустил и голову повесил, только глазами из-под лба поблёскивает. Никитка на него не обиделся: понимал, что холопу с боярскими да дворянскими отроками лаяться – только беду наживать. Наоборот, за Стёпку обидно стало, когда комок грязи, с того берега прилетев, об его чистую рубаху шмякнулся, а он только попятился да голову ниже опустил.

– Псы худородные! – Долгопятый Никитке кричит. – Из смердов вышли, смердами и остались! Землю ступайте пахать, жуки навозные!

А Никитка тоже в долгу не остаётся.

– Худой наш род или не худой, а всё получше вашего! – кричит. – Мы, Зимины, отродясь ворованным иконам не молились! Тати вы, а не бояре!

И чувствует: зря он это сказал. Ванька сам-то, может, и не поймёт, об чём речь, однако отцу своему непременно перескажет. Как бы худа не вышло!

Понял Иван Долгопятый, на что Никитка Зимин намекал, или не понял, однако осерчал крепко. Краской налился до самых корней волос и даже зубы от злости оскалил, ровно и не отрок старинного боярского рода, а упырь кровоалчущий, коему на погосте не ложится. Да оно и понятно: за всю жизнь он ни от кого, кроме, разве что от отца своего, боярина Феофана Иоанновича, слова худого не слышал. Никто ему не перечил, а все, наоборот, угождали, кто чем мог. А тут вдруг этакая напасть – дворянский сын не шибко знатного рода татем обзывается и грязюкой с головы до ног забросал! Как же такое вытерпеть?

Он и не вытерпел.

– Я тебе сей же час покажу, кто боярин, а кто тать! – кричит. – Землю есть будешь, смерд! А ну, ребятки, бей их по чём ни попало!

Подпевалы его, друзья-приятели, и рады стараться. Ну, может, и не рады, однако перечить Ваньке Долгопятому не стали – никогда не перечили и теперь не стали. Так, в чём были, в речку и полезли. Река, и без того невеликая, сейчас по летнему времени совсем измельчала – истинно, воробью по колено. Воробью не воробью, а даже в самом глубоком месте, ближе к зиминскому берегу, самому низкорослому из Ванькиной компании, Алёшке Аникееву, вода едва до пояса доставала. Кинулись они в речку, да так, что брызги до самого неба полетели, и бегом на другой берег – Никитку со Стёпкой воевать. А крику да ругани столько – ну, будто татарва, как два века тому, налетела.

Видит Никитка, что дело и впрямь худо. Четверо ведь их, да не на двоих – на него одного, потому как Стёпке, мужичьему сыну, с дворянскими недорослями драться недозволительно. Намнут ему холку ни за что, а он и ответить не вправе – знай себе терпи.

– Беги, Стёпка, – Никитка ему говорит, – неча тебе в это дело вязаться.

– А ты? – Стёпка спрашивает.

Ну что тут ответишь? Одному супротив четырёх, ясно, не выстоять – побьют, в грязи изваляют и впрямь, того и гляди, землёй накормят. Однако ж от ворога бегать Никитку Зимина тятка с дядькой Захаром не обучили. Не в заводе это было у Зиминых – пятиться да супротивнику спину казать. И не в голове это у него, у Никитки, сидело, а в самом что ни на есть нутре – в крови, в мясе, в костях и во всём прочем. И хотел бы побежать, да не получается – ноги будто в землю вросли.

Так что Стёпке он ничего не ответил. Да и некогда уж было отвечать – набежали. Первым бежал Егорка Хлопушин – здоровенный, как Ильи Муромца конь, недоросль полных двенадцати годков от роду. Ежели хорошенько разобраться, так на десятилетнего Никитку его одного с головой хватило б – затем, видать, его Ванька Долгопятый вперёд и послал, чтоб самому на место поспеть, когда всё уж кончится, чтоб над слабым покуражиться, когда тот уже наверняка сдачи дать не сможет.

Видя такое лихое дело, подхватил Никитка с земли коромысло да и махнул по Егорке справа налево – не как попало махнул, а так, чтоб, упаси боже, ненароком голову не проломить. Так его тятка с дядькой учили: когда биться надобно, не гневайся, не горячись, в драке первое дело – голова, а руки и всё остальное – это потом; подумай сперва, а после бей, а кто в бою себя не помнит, тому первому и конец.

Егорка, не будь дурак, руками закрылся, и попало ему коромысло аккурат по локтю. Сильно попало – так, что гладкая деревяшка у Никитки из рук вырвалась и в сторону отлетела. Заорал Егорка Хлопушин благим матом и с размаху в воду сел, за ушибленный локоть схватившись, – коромысло, стало быть, по той самой косточке попало, которую если задеть, вся рука разом отнимается.

Следом Макарка Головатый – этому кулаком в зубы, без затей, чтоб знал, каково Зиминых за живое цеплять. Алёшку Аникеева просто руками в грудь толкнул, с того и стало – сел в воду рядом с Егоркой, только брызги полетели. Но, падая, Алёшка успел Никитку за рукав схватить и за собой дёрнуть. На ногах Никитка, конечно, устоял и рукав свой вырвал, однако, потеряв равновесие, сделал два шага вперёд и тоже в воде очутился. И не успел разогнуться, как набежавший Ванька Долгопятый съездил ему по уху кулаком, аж искры из глаз посыпались.

Тут, конечно, славная баталия кончилась, и началась свалка, в коей Никитке досталась весьма незавидная роль того, на ком все скачут и прыгают, как кому заблагорассудится. К этому он был готов заранее; жалко было только, что не успел главному своему обидчику, зачинщику всей драки Ванятке Долгопятому зубы пересчитать. Но это, решил он, ещё успеется, когда Ванькиных подпевал рядом не будет. У Бога дней много; погоди, придёт и на нашу улицу праздник! И так жалиться не на что: троим из четверых гостинца поднёс, и то ладно. Хотел он Долгопятого хоть за ногу укусить, что ли, да не тут-то было: он, пёс, в сапогах оказался, а юфтевый сапог, хоть и мягок, зубами не прокусишь, только грязи зря наешься.

Тут как-то незаметно вышло ему облегчение. Слышны были какие-то непонятные звуки – сперва «бац!», после «ай!» – как будто подпевалы Ваняткины, соскучившись всем скопом Никитку топтать, взялись друг дружку вгорячах тузить. Почувал Никитка волю, вывернулся ужом из-под толстомясого Егорки Хлопушина, на спину ему вспрыгнул, схватил обеими руками за волосы и носом в сырой песок ткнул – раз, и ещё раз, и ещё, чтоб крепче запомнилось.

Потом услышал ещё одно «бац!», а следом – новое «ай!». И тут Ванька Долгопятый как завизжит:

– Ты что себе позволяешь, смерд?! Ты на кого руку поднимаешь?!

И тут опять – бац! А следом – плюх!

Бросил Никитка отрока Хлопушина тузить, огляделся и видит такую картину: Макарка Головатый с Аникеевым Алёшкой на тот берег бегут, да ещё шибче, чем сюда бежали – ну, ровно табун диких лошадей через речку скачет. У Алёшки рукав оторван, на ниточке висит, а Макарка портки обеими руками держит – по всему видать, снурок, коим они подвязаны были, в потасовке лопнул, и, ежели портки крепко руками не держать, улепётывать и вовсе с голым задом придётся.

А в речке, в аршине от берега, сидит на заду Ванька Долгопятый и рукой за глаз держится, по которому, видать, только что крепко схлопотал. А от кого схлопотал, и гадать не надобно, потому что Стёпка тут же на бережку стоит, и вид у него такой, будто его так и подмывает в воду залезть, Ваньку за грудки взять, силком на ноги поставить и второй глаз ему подбить, чтоб ровней гляделось.

Тут с Никитки весь воинственный пыл ровно ветром сдуло. Понял Стёпка аль нет, чего натворил, – то ему было неведомо. А сам Никитка с первого взгляда сообразил, что дело совсем плохо. Стёпка, мужичий сын, на боярского отпрыска руку поднял, да не просто поднял, а подбил ему, высокородному, глаз, и подбил, по всему выходит, крепко – рука-то у него тяжёлая, даром что моложе Ваньки на целый год.

– Ну, холоп, – Ванька говорит, – пропала твоя голова. Слезами кровавыми заплачешь!

– Холоп, да не твой! – кричит ему Никитка и Егорку Хлопушина сызнова носом в песок – торк!

А сам думает: кричи не кричи, а Ванятка-то верно говорит. Пропал Стёпка, как есть пропал. Да и самому Никитке, пожалуй, несдобровать. Зря они это затеяли, зря сразу, Ванятку с компанией увидав и речи их поносные услышав, с берега не ушли. А теперь что же? Теперь выходит, что Стёпка боярского сына побил, а Никитка ему, стало быть, потворствовал, а может, и вовсе наущал. Оно бы и ничего страшного, кабы речь не о Долгопятых шла. Ну, подрались отроки – с кем не бывает? Однако Феофан Иоаннович обид не прощает, даже мелких, и ещё

лет полста тому назад такая вот мальчишечья потасовка могла послужить причиной кровавого военного набега. Сейчас-то государь боярские вольности малость укоротил, сосед на соседа войной больше не ходит, да только много ль в том радости? Долгопятый всё едино сыщёт, как с обидчиком поквитаться...

Не то чтобы Никитка Зимин, отрок десяти лет от роду, прямо так, по-взрослому, рассуждал. Однако сердцем чуял: быть беде. Не следовало Долгопятого трогать, ибо сказано: не буди лихо, пока оно тихо.

А Стёпка, похоже, в ту минуту и вовсе ни о чём не думал. Никитка уж не раз замечал, что приятель его зело горяч – не так, как смерду, да ещё и отроку малолетнему, по чину да по возрасту полагается, а даже и для юноши доброго рода чересчур. Чуть что, вспыхивал, как сухой трут, и, видать, ещё и по этой причине с Никиткой, дворянским сыном, сдружился: деревенские мальчишки его кулаков да крутого нрава побаивались, а отроку товарищ необходим.

Вот Никитка и видит: всё, взъярился Степан. Что раньше было – это ещё цветочки, а ягодки, того и гляди, поспеют. Хотел крикнуть, да поздно: Стёпка уж набычился и вперёд шагнул.

И видно, было что-то такое в его лице, на что поглядев, даже Ванька Долгопятый проспись свою забыл. Побелел и, как был, на заду сидя, назад от крестьянского сына попятился. А когда этак-то, по-рачьи, на глубину забрался, где водица уж до подбородка доставать начала, на ноги вскочил, к Стёпке спиной поворотился и припустил следом за своими дружками, только брызги во все стороны полетели.

Никитка с Егорки Хлопушина встал, а тому только того и надобно: подхватился и бежать, будто за ним гонится кто. Чтoб ненароком не показать, до чего ему от всего этого не по себе, Никитка ещё комок грязи из-под ног взял и вослед ему кинул – точнёхонько промеж лопаток, хоть особо и не целился.

Убежали, стало быть, злые вороги, только кусты на том берегу затрещали. Тихо стало, слышать только, как вода подле берега плещется, как в небе жаворонок поёт, на деревне собаки лениво брешут да Иван Заколотный, деревенский кузнец, в кузне у себя молотом стучит.

Видит Никитка: остыл Степан. Руки вдоль тулова уронил и голову свесил: сообразил, стало быть, чего натворил-то. И ругать его вроде не за что – как-никак, товарища в беде не бросил, в злую минуту на выручку пришёл, – и доброго ничего впереди от этой его выручки не ожидается. Одна надежда, что Ванька Долгопятый застыдится сказать, что ему холопский сын глаз-то подбил. Только надежда слабенькая: ябеда он, доводчик, Ванька-то, про сие всей округе ведомо. Чуть что не по его, сразу бежит тятке жаловаться.

Повернулся Стёпка спиной к реке, на берег вышел и вёдра подобрал. Никитка у него спрашивает:

– И чего теперь?

Будто Степан, крестьянский сын, ему старший или начальник какой. Ну, да и то верно: в таких делах он и впрямь лучше Никиткиного понимал. Чаше пороли, надо думать, вот и преисполнился житейской мудрости.

– Воду таскать, – Стёпка говорит.

– Воду таскать – это понятно, – говорит тогда Никитка. – А дальше?

– Поживём – увидим, – отвечает Стёпка. – Может, и ништо. А нет, так совсем сбегу. К скоморохам пристану, что ли. А нет, так по твоему совету в монастырь пойду, богомазу пособлять.

Никитка вздохнул, подбирая мокрое, всё в приставших песчинках, коромысло. Вроде выходило по его – как-никак, Стёпка впервые сам заговорил о том, чтоб податься в богомазы, применить к делу свой талант, – а всё как-то не так, как мечталось. Он ведь и не чаял, что приятелю придётся идти к монахам не по своей воле, а бежать, спасаясь от гнева злого боярина Долгопятого.

Однако молодость своё всегда возьмёт, и в любой горести, как лучик солнца меж грозных туч, нет-нет да и блеснёт надежда, что всё как-нибудь само собой уладится и образуется. А уж в десять-то лет, пока жизнь совсем не прижала, человек и вовсе долго горевать да тревожиться не умеет. Посему, донеся до бездонной бадьи в Стёпкином огороде новые три ведра речной водицы, приятели уже хохотали во всё горло, вспоминая, как ловко побили превосходного числом, да не храбростью супостата.

Глава 4

С неделю, наверное, было тихо. Никитка мало-помалу начал забывать о драке на речном берегу – решил, стало быть, что Ванька Долгопятый и впрямь усовестился отцу про свой срам рассказывать, как ему в драке, им же и затеянной, сын подневольного крестьянина глаз подбил. Соврал небось что-нибудь – мало ли где отрок, пускай себе и родовитый, мог синяк под глазом заработать? С крыльца ли сверзился, на сук ли наскочил или иная какая причина – их, причин, ежели поискать, полный воз наберётся. Надежда, что то лихое дело им со Стёпкой сошло с рук, крепла день ото дня.

Да не тут-то было.

Начиналось вроде с радости – отца Никиткиного, Андрея Савельевича, из полка на короткое время отпустили, и прискакал он домой, в деревню, – на сына поглядеть, проверить, справно ли хозяйство ведётся. Это ли не радость? Никитка как раз на заднем дворе играл, из песка крепостицу строил – готовился, стало быть, как по малолетству умел, к ратной государственной службе, коей дворянскому сыну, ежели он душой и телом крепок, никак не миновать. Заслышав воротный скрип да конский топот, дело своё важное бросил и голову поднял, прислушиваясь. Сердце испуганно стукнуло: помнилось на миг, что это сам боярин Долгопятый, Феофан Иоаннович, по их со Стёпкой души пожаловал. Однако нет: брани-ругани на дворе не слышать, а слышна, наоборот, радость – даже пёс дворовый, и тот лает не так, как на чужого, а ровно с хозяином здоровается. А тут и дворовая девка, Малашкой звать, из-за угла выскочила да как заголосит:

– Никита Андреич, радость-то какая! Батюшка ваш, Андрей Савельич, пожаловали!

А Никитка и сам уж всё понял. Подхватился, коленки от песка отряхнул и стремглав вокруг дома на передний двор, к крыльцу, кинулся.

А отец уж на крыльце стоит и о чём-то с деревенским старостой разговаривает. Обнял Никитку, волосы на голове ладонью растрепал, прижал на миг к пыльному кафтану. От кафтана дорогой пахнет, луговыми травами, а больше всего – конским потом. На боку сабля – Никитка, грешным делом, пока отец его обнимал, успел пальцем её потрогать.

Потом Андрей Савельевич сына от себя отстранил и поглядел на него как-то иначе – так, что Никитка вмиг смекнул: дело плохо. Что плохо, ещё не понял, но видно, что хорошего мало. Взгляд у отца не то чтобы сердитый, а какой-то печальный, словно доставил ему Никитка по недомыслию какое-то большое огорчение. Последний раз отец так смотрел, когда он года тому уж два, а может, и все три со старой ветлы, что над речкой росла, свалился и острым суком спину себе до живого мяса разодрал. Родителя понять можно: вроде и виноват отпрыск, и наказать его не мешало бы, а как ты его, бестолкового, накажешь, когда на нём и без того живого места нет – ну ровно у медведя в лапах побывал? Вот и чеши в бороде, думай, как ему втолковать, что шею себе свернуть немудрено – мудрено её после поправить...

– Ещё на полвершка, гляжу, подрос, – сказал Андрей Савельевич. – Когда ж ты, отрок, в ум-то войдёшь? А ну, пойдём в горницу, потолкуем.

И первый застучал сапогами по дубовым ступенькам. А Никитка следом поплёлся, уже понимая, что за разговор его ждёт, и в душе лишь об одном мечтая: чтоб дело только розгами обошлось. Розги – невелика беда; терпи, коль заработал, и вдругорядь не зарабатывай. До сих-то пор ему мнилось, что страшнее розог ничего на свете нет, а тут вдруг подумалось, что бывают, ох бывают на свете вещи, рядом с которыми розги – это так, семечки. Что это за вещи такие, Никитка себе пока не представлял, однако от усталого отцовского голоса и от невесёлого взгляда вдруг повеяло нехорошим холодком – будто где-то дверца приоткрылась, что из жаркого лета в зиму лютую ведёт, и потянуло по полу ледяным недобрый сквознячком.

Взойдя в горницу, Андрей Савельевич первым делом перекрестился на образа, а после снял и сунул в угол саблю. Уселся на крепкую дубовую скамью подле стола, локтем в столешницу упёрся. Малашка ему квасу поднесла – испил, крякнул, усы утёр и Малашке рукой махнул: ступай, девка, не мешай мужескому разговору.

– Ну, отрок, – говорит, – сказывай, чего у вас с долгопятовским сынком-то вышло? Глаз его подбитый – чьих рук дело?

– Моих, – говорит Никитка.

А что тут ещё скажешь? Нешто это дело – на Стёпку указывать? Однако же и отцу неправду говорить – не дело. Странно как-то оно вышло: как будто и вины на тебе особенной нет, а что ни скажи – кругом виноват...

– Твоих ли? – переспросил Андрей Савельевич, круто заломив бровь.

Сколь ни было ему в сей час обидно и горько, а интересно стало, что сын ответит, надолго ль его упорства хватит. Как дело было, он уж догадался, соседовых жалоб наслушавшись да по старой привычке без ошибки отделив правду от кривды. Он-то понимал, каково сейчас приходится Никитке, и всем сердцем его жалел, ибо виниться тому было не в чем, кроме отроческого неразумия да горячности. Да и горячность ли сие, когда дворянский недоросль обидчику спуску не даёт? За то не ругать – хвалить надобно, а как ты его похвалишь, когда из детского баловства цельное дело произошло? Долгопятый – он ведь не остановится, до самого царя дойдёт, благо далеко ходить ему, думному боярину, не надобно. Ударит челом, наплетёт с три короба, а государь-то крут! Что он боярам да князьям руки загребушие укоротил – то благо великое. Без этого Долгопятый уж давно бы земли, тем же государем жалованные, у Зиминых без спроса отнял – кликнул бы дружину, и дело с концом. В полдня бы управились, и челобитную писать, пером по пергаменту карябая, не надобно. Так что государь, с одной стороны, от боярина единственная защита, а с другой – боярина-то ему слышнее, чем служилого худородного дворянина Андрюшку Зимина. Ежели скажет: казнить – так уж переспрашивать да перечить никто не станет, казнят в два счёта, как последнего конокрада, лишь бы свои головы на плечах сносить...

– Моих, – ответил Никитка, продумав. – Моих рук дело, мой и ответ.

Андрей Савельевич вздохнул только. Ну вот что ты с ним будешь делать? Твёрдо держится отрок. Оно-то вроде и недурно, однако же времена настают такие, что гибкости требуют, а гибкости в сыночке не видать – в отца пошёл, стало быть. Эх, не сломали бы!..

«На всё воля Божья, – смиренно подумал Андрей Савельевич. – А только ежели его кому и ломать, так не мне. Пусть его растёт, силы набирается, крепости – авось не хрустнет, когда придёт его час».

– Будет тебе ответ, – пообещал он.

– Пускай бы Ванька Долгопятый сперва ответил, – слегка осмелев, изрёк предерзкий отрок. – Не я к нему драться полез – он ко мне. Вот и получил, чего искал. Ты мне сам давеча сказывал про святого равноапостольного князя Александра Невского. Кто к нам с мечом придёт...

– Святого Александра Невского ты пока оставь, – перебил Андрей Савельевич, коему ныне было не до споров. У него имелось к сыну срочное дело, говорить о котором прямо он не хотел. Приходилось искать окольных путей; сыскать их было немудрено, да вот только поймёт ли сын его намёки? – Что Долгопятого сын своему отцу наплёл, того я не ведаю и ведаю не хочу. Но вот ежели бы, к примеру, из моих крестьян кто за меня вступился – на войне либо в каком ином лихом деле, – я б ему после, как себе, доверял. И постарался бы так всё устроить, чтоб спасителю моему через храбрость его никакого худа не было. Вон, возьми хоть дядьку Захара. Знаешь, откуда у него рубец сабельный на щеке? Кабы не он, снесла бы та сабля мою головушку, и быть бы тебе тогда круглым сиротой. Он мне столько раз жизнь спасал, что и

не считаешь. Да и я ему, если припомнить, тоже. Для дворянина в походе верный слуга – наипервейшее дело.

Он покашлял в кулак, отхлебнул ещё квасу и, расправив усы, продолжал свою речь, которую сын, судя по низко опущенной голове, очень даже хорошо понимал.

– К чему это я? – будто потеряв нить разговора при углублении в дела давно минувших дней, делано спохватился он. – Так, вспомнилось что-то... А сказать я тебе хотел, что сосед наш, Феофан Иоаннович, с сыном своим Иоанном сильно к нам в гости набивается. Соседу, сам понимаешь, не откажешь, так что будут они здесь самое позднее завтра с утра. А может, и сегодня же к вечеру пожалуют – это дело такое... гм...

Никитка вскинул голову, вглядываясь в его лицо: не шутит ли? Отец не шутил, это было видно по озабоченному, хмурому выражению лица. В гости... Ясно, что это за гости! Наябедничал Ванька, и, по всему виду, Андрей Савельевич имел с соседом своим, боярином Долгопятым, не шибко приятный разговор о той оказии, что случилась на берегу речки.

– Прощенья у Ваньки я просить не стану, – упрямо наклонив голову, сказал он. – Сам виноват. Никто его сюда не звал, и нечего было смердом обзывать.

– Неволить я тебя не стану, а кто кого кем обзывал – про то после потолкуем. Помиритесь, обнимете друг дружку, как меж православными заведено, и будет с вас. Повинишься перед ним, коль охота придёт, в прощёное воскресенье, а ныне не про то разговор. Приедут они, стало быть, пойдут по деревне... ну, или, может, поедут, чтоб ножки сахарные в пыли не марать. Может статься, какое знакомое лицо углядят. Для них-то, Долгопятых, все холопы одинаковы, особенно чужие, да вдруг которого припомнят?

В носу у Никитки подозрительно зашипало, и он поспешно опустил голову, чтобы отец не увидел слёз, которыми вмиг наполнились его глаза. Ещё, чего доброго, подумает, что сын Долгопятых испугался! Плакать же ему хотелось не от страха или обиды, как это чаще всего случается в десять лет, а от чувства благодарности, такой горячей, какой он, пожалуй, не испытывал ещё ни разу в жизни. Отец говорил с ним, как с взрослым; более того, поступок Стёпки, который сам Никита считал непростительным проступком, едва ли не злодейством, отец, кажется, одобрял – недаром же повёл речь издалека, недаром говорил про верного слугу, без коего дворянину в походе пропасть бысть... Прямо он этого, конечно, сказать не мог: давайте, мол, ребята, лупите боярских недорослей почём зря, даст Бог – до царевича со временем доберётесь, – однако дал понять, что злодеяния никакого в Стёпкином заступничестве не увидел. Да и то сказать: кому он надобен, такой слуга, который за своего хозяина не заступился? Не говоря уже о друге...

– Ну, ступай играть, – сказал отец. – После ещё поговорим. Да вперёд осторожней будь. Ежели надо бить – бей, да только лучше уж в ухо либо по рёбрам. В глаз-то зачем же? Оно ведь не так больно, как обидно, а иные люди малую обиду до конца дней своих помнят. И чем дольше помнят, тем больше да больней им сия обида кажется...

Проводив долгим взглядом сына, который, несомненно, всё понял и помчался предупредить своего приятеля Стёпку Лаптева, пачкуна запечного (больше некого), Андрей Савельевич кликнул старого дядьку Захара.

– Вот что, Захар, – сказал он, когда старик взошёл в горницу и стал на пороге, привычно согнув костлявую, но всё ещё широкую спину в поклоне. – Надобно мне уезжать. И, по всему видно, надолго. Идём на Волгу, астраханского хана воевать. В доме тебя за старшего оставляю. Ежели деньги потребуются или иной какой припас, к старосте ступай. Я его уж упредил, так что выручку с урожая он тебе отдавать станет, а ты её береги. Сильно не жмись, знаю я тебя, однако и Никитку сверх меры не балуй. Ты за него в ответе. Остальное, ежели что, пускай хоть огнём сгорит, а сына мне сбереги.

– Обижаете, батюшка Андрей Савельич, – привычно забормотал старик. – Нешто я не понимаю?

На языке у него так и вертелся вопрос: как же ты, дескать, барин, в походе без меня-то? Однако у Захара хватило ума понять, что, состарившись, в поле он станет хозяину скорее обузой, чем подмогой. Умом-то он это понимал, да на сердце всё едино было горько, как бывает, наверное, горько старому гончему псу, коего любимый хозяин первый раз в жизни не взял с собой на охоту по первому снегу.

То ли по лицу его это было очень заметно, и барин решил, пока не поздно, переменить разговор, то ли, что вернее, ещё не всё главное было сказано, а только Андрей Савельевич вдруг спросил каким-то иным, как будто даже сердитым голосом:

– Ответь-ка, Захар, ты почто моему сыну свои байки в уши поёшь?

– Какие такие байки? – изумился старик, уже и думать забывший о рассказанной более недели назад истории, коя, как это часто случается со стариками, излилась из него так же свободно и произвольно, как изливается вода из прохудившегося ведра.

– Ведомо ль тебе, надзирателю за воспитанием моего сына, что на прошлой неделе Никитка Долгопятых татями обозвал? Вы, сказывал, краденой иконе молитесь...

Старик ахнул, лишь теперь поняв, что ключница Матрёна говорила истинную правду: долгий язык при коротком уме довёл-таки до беды.

– Ай, беда-то какая! Ай, несчастье! Прости, кормилец, бес попутал! – вскричал он, падая хозяину в ноги.

– Бог простит, – сурово отрезал Зимин. – А ты ступай на конюшню да скажи Митрию, чтоб отсыпал тебе с пяток горячих за твоё недоумие. Вперёд будешь помнить, чем твои байки кончаются, до чего доводят... Ступай!

Не говоря больше ни слова, старик, согнув спину, попятился к дверям. До сего дня он ни разу не удостоивался порки на конюшне, однако и обижаться на барина было грешно: Захар знал, что крепко провинился, и готов был понести вдесятеро более суровое наказание, чем те несчастные пять плетей, на которые расщедрился незлобивый Андрей Савельевич.

– И скажи там, чтоб поесть принесли, – крикнул ему вдогонку Зимин. – Пристал я что-то с дороги, проголодался...

* * *

Из поездки к соседу думный боярин Феофан Иоаннович Долгопятый возвращался мрачнее тучи. Развалясь на сиденье своей богато изукрашенной колымаги, занимая почти всю его ширину своей брюхатой тушей, облаченной в шелка, бархат и, несмотря на лето, душный бобровый мех, боярин сердито мял унизированной перстнями мясистой ладонью длинную густую бороду и хмурил косматые брови. Отпрыск его и наследник, названный в честь деда (а заодно, чего уж греха таить, и царя-батюшки) Иоанном, комком рыхлого мяса трясся на сиденье супротив родителя. Отроком Ванятка был крупным, упитанным, волос имел золотой, волнистый, глаз голубой, а щёки румяные – словом, ежели подумать, лепота и умиление. Ни дать ни взять, королевич из сказки, хоть ты сей момент корону ему на чело клади.

Однако в лице «королевича», коему по детству полагалось выглядеть невинным и чистым, уже без труда читалось тупое упрямство, свойственное, по слухам, низкорослому коньку с предлинными ушами, что обитает в ханских землях и зовётся ишаком либо, иначе, ослом. Насчёт ишака Феофан Иоаннович доподлинно не знал, ибо бывать в низовьях Волги или, того хуже, в Крыму ему, слава богу, не доводилось, однако выражение Иванова лица было ему хорошо знакомо: выпяченная особым манером нижняя губа, сведённые к переносице редкие по малолетству брови и презлой взгляд исподлобья боярин не раз и не два видывал в зеркале, когда расчёсывал перед ним бороду. Сие означало, что фамильное упрямство, коим род Долгопятых славился не хуже ишака, отпрыск унаследовал в полной мере. Однако ж вот беда: помимо упрямства, стати да тяжёлого округлого подбородка, сын не взял от отца ничего – ни

ума, ни твёрдости, ни таланта в плетении придворных хитростей, кои в те времена на Руси ещё не начали называть заморским словом «интриги». Уродился он, по всему видать, в мать – рыхл, неразумен паче дозволительного даже в его нежном возрасте, да к тому ещё и боязлив; качества эти, проявляясь совокупно с фамильным упрямством и им усугубляясь, порой заставляли Феофана Иоанновича горько сожалеть о том, что сын не помер во младенчестве. Сожалел он о том когда тайно, а когда и вслух, громко, на весь дом, укоряя себя за то, что не додумался вовремя удавить отпрыска в колыбели собственными руками, пока тот не вырос в этакое, прости Господи, бесталанное дурня.

Зла своему наследнику боярин, конечно же, не желал, ибо кто же, находясь в здравом рассудке, всерьёз возжелает затоптать собственное семя, продолжение своё в скорбной земной юдоли? Однако огорчений сын ему приносил много, и, от природы будучи гневливым да вспыльчивым, розог на вразумление неразумного отрока боярин Долгопятый не жалел. Младой боярин Иоанн Феофанович и ныне неловко ёрзал на лавке, пытаясь пристроиться как-нибудь так, чтоб дорожная тряска поменьше отдавала в поротый зад. Ёрзанье сие вкупе с громадным синяком, что занимал едва ли не всю левую щёку, почти полностью скрывая глаз, многократно усиливало раздражение Феофана Иоанновича против своего бестолкового отпрыска, ибо лишний раз напоминало о том, чего боярин и без того не мог забыть. Что же это, в самом деле, за напасть: он, думный боярин, вместо государевых дел должен думать о какой-то мальчишечьей потасовке, в коей к тому же повинен единственно его неразумный отпрыск!

Что бы ни говорил Феофан Иоаннович своему заносчивому не по чину соседу Андрюшке Зимину, все подробности той злосчастной баталии на речном берегу были ему доподлинно ведомы – насквозь, до последнего словечка. Ванька, явившись домой в мокром грязном платье и с синяком на пол-лица, пытался, конечно, юлить, валя всю вину за своё увечье на младшего Зимина, Никиту, однако в лице его Феофан Иоаннович читал, как в открытой книге, и, не успев добиться правды добром, взялся за розги. Сына пороть он никому не доверял – дворня, она ведь и пожалеть может, памятуя о том, что никто не вечен и что рано или поздно отрок, чей заголённый зад ты ныне охаживаешь вымоченным берёзовым прутом, станет твоим полновластным хозяином. Посему отпрыска своего боярин всегда порол самолично, не брезгуя сей чёрной работой для блага наследника богатой боярской вотчины; а кого Феофан Иоаннович порол, тот правды от него утаить не мог, будь хоть трижды упрям. Ваньке сие было ведомо, и ему же хуже, что, зная наперёд свою незавидную участь, всё ж таки пытался обмануть родителя. Это всё она же, смесь фамильного упрямства с неразумием да трусостью, себя оказывала; смесь сию надлежало из отрока выбить до последнего зёрнышка и уничтожить, и чем скорее, тем лучше. Ведь времена ныне пошли такие, что, ежели вырастет Ванька таким, каким обещает, не сносить ему головы. Государь, хоть и зовётся всякому русскому человеку отцом, к чадам своим нимало не милосердствует, и, ежели себя с ним хоть разочек этак повести, розгами одними дело не обойдётся – не миновать тогда дыбы да плахи, а то и на кол, чего доброго, усадит.

Посему сына Феофан Иоаннович порол нещадно, и про то, что у речки случилось, Ванька ему всю правду сказал, до последнего словечка. Вернее, не сказал, а провизжал, однако сие до дела не касаемо. Визжит – стало быть, пробирает отцовская наука до самого нутра, идёт впрок и со временем, даст Бог, себя окажет, выручит в тяжкую годину.

Правду-то боярин сведал, да только утешения ему в той правде не было. И ссору Ванька сам затеял, и в драку первым полез, и победить не сумел, хоть и превосходил супротивника числом вдвое. Только сраму натерпелся: и татем дал себя обозвать, и от холопского сына в глаз получил. Да как получил-то! Эвон синячище какой, ровно конь лягнул! Ежели б даже Ванька не сознался, что дозволил смерду рукоприкладством свой лик опоганить, всё едино догадаться о том легче лёгкого: так-то ударить Зимину-отроку не под силу, разве что головой, да и то с разбега.

Да что синяк! Известно, холопу на боярина руку подымать недозволительно, однако это смотря когда. Ежели оный боярин сам, без спросу, воровским обычаем в чужую вотчину вперся да на законного хозяина, яко коршун, налетел, холопу за своего господина насмерть стоять самим Богом велено. И на Ваньке, поди, не написано, чей он сын, и закона такого ныне нету, чтоб в чужом имени как бог на душу положит бесчинствовать. Вот и выходит, что Ванька кругом виноват. Посему, сколь царю-батюшке в ноги ни падай, сколь челом ни бей, законным порядком тут ничего, кроме нового лиха, не добьёшься. Да и мыслимое ли дело царя по такой малости беспокоить? Того и гляди, осерчает, тогда синяком под глазом не отделаешься!

Да и не в этом дело. Ясно, что спускать зиминскому пащенку его дерзновенный поступок боярин не собирался. Спуску нельзя давать никогда и никому – это Феофан Иоаннович знал, как «Отче наш», и следовал сему правилу неукоснительно. Потому и у власти до сей поры держался, когда иные, и богаче его, и родовитее, давно уж на плахе головы сложили. Дашь человеку попущение в малости – он немедля большего взалкает. Оглянуться не успеешь, а тебя уж ни во что не ставят – пинают ногами кому не лень, как дворового пса, да ещё и насмеваются. Нет уж, такой доли боярин Долгопятый ни себе, ни сыну не чаял. Не для того предки с татарской насмерть бились, соседей под себя подламывали, святую Русь на своих плечах подымали, чтоб теперь их семенем псы худородные помыкали! Потому сквитаться с Зиминскими Феофан Иоаннович порешил твёрдо – не мытьём, так катаньем.

Хуже были слова, которыми это пёсье отродье, Никитка Зимин, Ваньку поносил. Татиде вы, а не бояре, краденой иконе молитесь – каково? Про эти его слова Феофан Иоаннович Ваньку трижды переспросил – не выдумал ли, не перепутал ли чего, не напел ли ему в уши кто из собственной долгопятовской дворни?

Однако же нет. Ничего Ванька не напутал, и никто из челяди дворовой, что в боярском тереме день-деньской толклась, ежели чего и знал, вслух, да ещё и с молодым хозяином, говорить об этом не отважился. Сам-то он, слава богу, из слов зиминского щенка ничегошеньки не понял, кроме того, что они обидные, и по недоумию своему даже не заинтересовался: что это за краденая икона да почему это мы, Долгопятые, – тати?

Может, так-то оно и лучше. Может, аккурат на Ваньке порвётся цепочка, что намертво приковала старинный боярский род к тому давнему злодейству. И злодейство-то было, считай, плёвое; возьми любой, сколько их есть, именитый род да покопайся, ежели сумеешь, в фамильной истории – о-го-го! Ты там такого накопишь, что после до конца дней своих спокойно спать не сможешь. Подумаешь, монашка плетью до смерти забили да икону присвоили! Забили-то по случайности, ненароком, а икона... Ну что ж делать, ежели так вышло? Не в дорожной же пыли её оставлять!

Так что злодейства никакого, можно сказать, и не случилось. А только было в той давней-предавней истории, а может и в самой иконе, что-то такое, отчего смотреть на неё спокойно и уж тем паче искренне на неё молиться Феофан Иоаннович, хоть убей, не мог. И из пращуров его, насколько ему было ведомо, тоже никто не мог. Время и привычка придали иконе незыблемый статус родовой реликвии, сугубо почитаемой семейной святыни, но проникнуться к этому размалёванному куску кипарисовой доски истинной любовью никто из Долгопятых не мог. А порой Феофану Иоанновичу начинало казаться, что и сама икона тоже его недолюбливает: то помстится, будто святой Георгий, пронзая копьём поганого змия, искоса поглядывает на боярина, да так, словно подумывает, не оставить ли ему того змия в покое да не взяться ли за Феофана Иоанновича, а то привидится вдруг на месте змиевой зубастой пасти некий бородатый лик, носящий на себе неизгладимые долгопятовские черты. Свят-свят-свят! Ей-богу, наваждение!

Или взять, к примеру, хоть самую эту историю с монашком. Ни сам Феофан Иоаннович, ни пращуров его помнить сию историю не хотели – хотели, наоборот, забыть. Да только она не забывалась, помнилась, словно за два века сами стены боярского терема насквозь ею про-

питались. Вроде никто её нарочно не пересказывал, а знали все. Феофан Иоаннович хорошо помнил, как сам её узнал. Поначалу-то не знал, конечно, просто удивлялся: отчего это ему на образ святого Георгия Победоносца смотреть боязно, ровно и не святой это, а чёрт с рогами? Потом в голове неведомо откуда, будто сами по себе, возникли какие-то смутные обрывки, а уж потом, видя, как он мучается, отец, Иоанн Петрович, зазвал его к себе в горницу да и рассказал всё как было, без утайки.

Феофану Иоанновичу в ту пору было, как ныне его сыну, одиннадцать полных лет. Невзирая на опасный этот возраст, Ванятка никакого страха перед иконой не проявлял – наоборот, гордился семейной реликвией, истово на неё молился, бил земные поклоны и всё выпытывал у мамок да нянек новые подробности фамильного предания, согласно которому чудотворная икона, отворачив от Москвы татарские полчища, явилась его пращурю Гавриле Алексеичу на пепелище спалённой неприятелем дотла Свято-Тихоновой пустыни. Феофан Иоаннович как мог хранил и оберегал неведение сына, чая, что Ванятка станет первым из их рода, кто так и не узнает подробностей той тёмной истории. А чего не знает он, того не узнают ни внуки его, ни правнуки, и пойдёт род бояр Долгопятых далее через века твёрдой поступью, осиянный неземным светом чудотворного образа.

И на тебе: «Тати вы, а не бояре! Краденой иконе молитесь...» Нешто можно такое стерпеть?

Он и не стал. Перво-наперво встретился в Москве с отцом предерзкого отрока Андреем Зиминим и пересказал ему, что на речке было, на свой лад – его-де сын, Никита, с одним из своих холопов через речку на его, боярина Долгопятого, земли перебежал и отпрыску его, Иоанну Феофанову сыну, сквернословное поношение и рукоприкладственное увечье учинил. Особо же пенял боярин на смерда, каковой по наущению своего молодого хозяина посмел поднять нечистую руку на отпрыска знатной фамилии, за что потребовал выдать сие холопское отродье головой ему, боярину Долгопятому, для суда и расправы, дабы другим неповадно было.

Зимин, тысяцкий, а иначе полковник, стремленного стрелецкого полка, давно сидел у Феофана Иоанновича в горле острой костью. Не по чину был заносчив и лебезить перед родовитым да могущественным соседом не торопился, хоронясь от его гнева, яко мышь за печкой, за государевой службой. Так же и ныне: открыто перечить думному боярину, конечно, не дерзнул, однако и исполнять его желания сломя голову не бросился, сославшись всё на ту же государеву службу: дескать, ежели выйдет свободный часок, займёмся делом твоей боярской милости, а не выйдет – не обессудь. Отроки – они отроки и есть: как подрались, так и помиряются, а назавтра, гляди, сызнова подерутся. Нешто не все мальцы такие-то?

Пёс предерзкий!

Ну, холопий сын – то дело десятое, с ним всегда успеется. А вот сам тысяцкий – это да. С ним, непочтительным соседом, Феофану Иоанновичу давненько уже разделаться хотелось – и за бесстрашную да прямую повадку, коя так государю глянулась, и за спину негибкую, и за неуступчивость, с коей не пожелал, пёс смердящий, своим именем в пользу сильного соседа поступиться. Оно-то, конечно, боярин в том имении не шибко нуждался, своих деревень да холопов в достатке имея, но и обиду молчком проглотить не хотел: как это так – он, боярин Долгопятый, чего-то возжелал, а какой-то стрелецкий полковник ему желаемого не дал?

Тем паче теперь, когда выяснилось, что сын его со смердами якшается, которые драчливы да непочтительны, и что сам Зимин не только знает, откуда в хоромаш боярина чудотворная икона святого Георгия взялась, но и болтает о том направо и налево, отпрыска своего не тому, чему надобно, наущая. Ну, стало быть, пеняй на себя, тысяцкий!

Целую неделю Зимин тянул, не торопился своего холопа боярину головой выдавать – зело был на государевой службе занят, никак ему, болезному, не удавалось домой, в проклятушее своё имение, хоть на денёчек вырваться. Ну, да боярин Долгопятый – не аспид какой-нибудь. Помог ему по доброте душевной, по-соседски, из милости, организовал оказию. Тем паче что

её, оказию эту, и организовывать-то долго не пришлось – она, оказия, уж месяц наготове была, своего часа дожидаясь. Поговорил, с кем надобно, намекнул, что справный человек без живого дела пропадает, возможности перед государем отличиться не имея; кому серебришка посулил, кого просто приласкал чуток, о чём тот и мечтать не смел, и готово, сладилось дело: приписали тысяцкого Зимина к войску, что на Волгу отправлялось в помощь православной рати, что под Астраханью нехристей ханских воевала.

Славное ожидалось дело, для государства Российского зело полезное, а главное, что небыстрое: пока до Астрахани, пока город взять, пока укрепиться да татарву окрестную усмирить – глядишь, не один год пройдёт, допрежь псу этому, Зимину, доведётся восвояси воротиться. А может, и вовсе не доведётся, поелику война – она война и есть, а на войне всякое случается. Бывает, что и гибнут люди за веру православную, за царя-батюшку да за святую Русь...

Но допрежь всего надо было навестить Зимина в его имении, раз уж выпала ему оказия перед отъездом в далёкие края, за полторы тыщи вёрст, домой заскочить, допросить с пристрастием его пащенка и заставить Ваньку опознать того смерда, который дерзнул на него руку поднять. Зимина в полку навестил, не побрезговал, в гости напросился, да так, чтоб ему, псу, ясно стало, кто и за какие заслуги ему сие назначение в войско устроил. И, перекрестясь (ясно, что не на святого Георгия, ну его совсем, хоть и святой), поехал.

И зря ведь проездил! Младший Зимин, предерзкий пащенок, прямо в глаза ему глядя, с должным почтением, однако твёрдо, прямо как отец, рёк: холопа того знать не знаю, пришлый какой-то малец. Будто бы встретились они на речке, сдружились скоро, как сие часто меж отроками случается, и стали играть – представлять, будто сей неизвестный отрок есть скоморох, а Никитка Зимин – учёный медведь, который коромыслом воду носить умеет. Может, тот отрок как раз от скоморохов и отбился, уж больно весело да ладно всё у него выходило, будто всю жизнь медведя на цепочке водил.

Играли они, стало быть, а тут набежал Ванятка со товарищи, и вышла промеж ними ссора. А где ссора, там и драка, и в этой-то драке, стало быть, ничейный отрок Ванятке глаз ненароком и подбил.

И ясно ведь, что кривду говорит, пёсье отродье, а ухватить его не получается. Его бы расстелить на лавке, да розог ему, розог! То-то бы соловьём запел!

Зимин-старший кругом ходит, покрикивает, старание изображает. Позвал старосту, велел всех отроков от шести до тринадцати годов по деревне собрать и на двор представить для боярского осмотра. Собрали отроков, да что толку? Не узнал никого Ванька, нет того, который надобен: то ли спрятали его со злым умышлением, то ли и впрямь был он нездешний, приبلудный, от паломников отбившийся, либо от тех же скоморохов, либо просто беглый сирота.

«Стало быть, нету, – говорит тогда тысяцкий. – Не прогневайся, боярин, а только на нет и суда нет».

Хотел было Феофан Иоаннович вспылить, уж, чуёт, и лицо краской наливаясь пошло, однако вовремя спохватился и изобразил на устах самую сахарную улыбку, на какую только был способен. «И то правда, – сказал. – Да и об чём разговаривать, ежели страшного ничего не стряслось? Кости целы, а синяк сам пройдёт». И укатил, от угошенья хозяйского отказавшись.

Был он злее злого, и даже от мыслей о том, как Зимина изведёт, веселей ему не становилось. А тут ещё и Ванька, дурья голова, разнылся, как больной зуб: отчего да почему ты, тятенька, выскочек этих худородных не наказал? Неужто они тебе дороже родного сына? Дал ему боярин по лбу, чтоб умолк, а после, остыв немного, сказал: «Наказать тоже по-разному можно. Ты, я чай, Никитку Зимина тоже за слова его поносные наказать хотел, а что из сего вышло, окромя битой морды? То-то, что ничего. Когда хочешь человека крепко наказать, спешить не следует быть. Тут подумать надобно».

Ну, Ванька и отстал, поелику думать – это ему всегда скучно казалось. Скуден он был умишком, хоть и не совсем дурачок блаженный. Ну, да ничего, пока отец жив, в обиду своего отпрыска не даст.

И стал боярин думать сам, хотя тут и думать-то уж нечего было: всё у него само придумалось, пока он пыхтел, злился да Ваньку по лбу посохом бил. Война – сие, конечно, славно. Даст Бог, с той войны Андрей Зимин, стрелецкий полковник, не вернётся, сгинет в чужих астраханских степях, кои государь своими, российскими видеть желает. Однако на Бога надейся, а сам не плошай; кабы всякий, кто на войну ушёл, лютой смертью погибал, на свете б давно уж людей не осталось. Одни бы бабы по миру ходили, да и те со временем вымерли б, поелику сами, без мужиков, рожать не научены. Зимин – воин бывалый, опытный и храбрый, в походы хаживал не единожды, а по сию пору цел, будто заговорённый. Так что, ежели ему не помочь, может и в этот раз невредимым домой воротиться.

Ну как пособить тысяцкому в военном походе сгинуть, Феофан Иоаннович, положим, знал. Знал и то, что ему надобно делать далее, когда весть о гибели Зимина до родных краёв докатится. Перво-наперво – умолить царя-батюшку верить ему, боярину Долгопятому, опекунство над сиротой, Никитой Андреевым сыном Зиминим, и его именем. Государь, надо думать, не откажет – с чего бы? Долгопятый – боярин родовитый, не бедный, и большой корысти для него в двух несчастных деревеньках даже грозный Иоанн Васильевич, поди, не углядит. Напротив, ещё и похвалит, что сжалился по-соседски над сиротой, не дал без отеческого догляда пропасть. Подпишет челобитную, и дело с концом: и имение, и мальчонка предрезкий – всё в Феофана Иоанновича руках окажется, в полной его власти. Ныне отроку десять, совершеннолетие считается с семнадцати; итого – семь годков опекунства. А за семь лет с отроком всякое случиться может. Мудрено ли ему, неразумному, пасть с крыльца и шею себе свернуть? То-то, что немудрено.

От этих кровавых мыслей Феофан Иоаннович повеселел, как будто его не шибко хитрый план уже увенчался полным успехом. Он даже снизошёл до того, чтобы ласково потрепать сына по вихрастой, шелковистой на ощупь макушке. Ванятка при этом испуганно вздрогнул и вжался в угол сиденья, как забитая собачонка, но занятый своими приятными мыслями боярин этого, казалось, не заметил.

Когда у боярина не было в нём нужды, Аким Безносый обыкновенно проводил всё своё время на заднем дворе, где по милости Феофана Иоанновича ему был отведён огороженный кут вроде длинного, закрытого со всех сторон загона для скотины либо коридора с бревенчатыми стенами, но без крыши. Кончался сей коридор глухой бревенчатой стенкой сарая, перед которой рядком стояли три соломенных чучела – одно в старой, прохудившейся, прадедовских времён кольчужной рубахе, другое в тронутых ржавчиной пластинчатых аломанских, сиречь немецких, латах, а третье просто так, в грубой ряднине. Жизнь у этих болванов, сменяемых не реже раза в неделю, а бывало, что и каждый божий день, была короткая и нелёгкая – в них тыкали пиками, ножами и саблями, пронзали их стрелами, рубили топорами и с вывертом хлестали длинным, заплетённым свинцовой проволокой кнутом из сыромятной кожи. Новомодных пищалей да аркебуз Безносый Аким не жаловал: возни с ними много, шума да дыма тож, а толку чуть. Разве что бьют подальше да посильнее привычного лука, да и то, смотря какой лук, а главное, какой лучник. Сам Аким со ста шагов мог пробить стрелой железное нагрудное зеркало и с тридцати аршин попасть брошенным кинжалом в узкую щель меж шлемом и стальным нагрудником. Так на что ему, спрашивается, тяжеленная пищаль, которая гремит, как колесница Ильи-пророка, больно отдаёт в плечо, а главное, сразу указывает противнику, где притаился стрелок?

Честного боя глаза в глаза Аким Безносый не любил, хотя, ежели доводилось, и тут не давал ворогу спуска. Нравилось же ему нападать скрытно, из засады – так, чтоб супротивник даже понять ничего не успел, не говоря уж о том, чтоб за оружие схватиться. В этом деле был

Безносый великим, непревзойдённым мастером, равно как и в пыточном искусстве, и в потайной шпиговской работе. Только раз в жизни вышла у него промашка, только единожды он оплошал, дозволив врагу себя одолеть, но и тот случай пошёл ему на пользу, дав кров над головой, сытную пищу и спокойную, безбедную жизнь под рукой могучего боярина Долгопятого.

Двадцати лет от роду Аким был взят с поличным над трупом зарезанного в переулке купца, нещадно бит батогами, обезноздрен, клеймён позорным воровским клеймом и сослан в пожизненную каторгу в погибельные соляные копи. Да ведь это только так говорится – пожизненная, мол, каторга, – а на самом-то деле там, под землёй, долго не выживешь. Год-другой – вот и вся твоя жизнь. Лучше уж сразу помереть, чем так-то мучиться; этак рассудив, улучил Аким минутку, размозил стражнику череп кандалами да и был таков.

Известно, без ноздрей да с клеймом посередь лба человеку одна дорога – в лес, в звериную берлогу, с кистенём на проезжих охотиться. Эх и погулял же Безносый Аким со товарищи, ох и потешился! Купцы его имени как огня боялись, князья с воеводами сна-покоя лишились, за ним по лесам да оврагам рыская. Много в тех оврагах осталось княжеских дружинников да царских стрельцов, а в Акимовой ватаге народу всё не убывало – жизнь на Руси такая, что лихим людям убыли нет, на место одного убитого враз двое становятся.

Полных два года он этак-то гулял, пока не вышла наконец проруха. Встретился Безносый Аким на узкой лесной дороге с повозкой боярина Долгопятого, и вот тут-то жизнь его вдругорядь и повернулась, да так, как он ранее и помыслить не мог.

Зимой это случилось, по первопутку. Куда да по каким таким делам боярин в своём расписном возке ехал, сие нам неведомо, а только заехал он в западню, где Аким со своей ватагой неосторожного путника поджидал. Неведомо, опять же, нарочно было так устроено, что охрана боярская от возка поотстала, либо вышло сие случайно, а только видят разбойнички: катит лесом санный возок, шестериком вороных запряжённый, а охраны при нём – пятеро дружинников всего. В возке боярин развалился, на коем одного дорогого меху столько, что всей ватаге на год безбедного житья хватит; о парче, бархате да злате с камнями и говорить нечего. Жирный, одним словом, кус и сам в руки идёт.

Ежели хорошенько всё припомнить да здраво рассудить, получится, что никакой случайностью тут и не пахло. Конечно, охрана боярская могла ненароком отстать – бывает такое, хоть и нечасто. А вот чего она точно не могла, так это проскакать незамеченной мимо дозорного, что над дорогой, яко сорока-белобока, на сосне сидел. Дозорного того Безносый Аким больше не видел – ни живым, ни мёртвым. А стало быть, был тот дозорный, безродный пёс, заранее подкуплен. Делото, ежели подумать, нехитрое. Всего-то и надо, что в городе нужных людей поспросить, отыскать того, кто тебе надобен, и предложить ему на выбор кошель серебра либо дыбу да плаху кровавую. В таких-то делах, как Аким после сведал, боярин Долгопятый был истинный дока. И чего б ему, доке, перед царём-государем не отличиться, разбойника изловив, от коего всей округе третий год житья не было?

А могло, конечно, и случайно выйти. Потому как до сих-то пор за Долгопятым-боярином особой ратной доблести не замечалось. А тут вдруг – на-кося! – удумал Акима, душегуба известного, на себя как на живца из норы выманить. Чудны дела твои, Господи!

Словом, как оно всё на самом деле получилось, одному Феофану Иоанновичу ведомо, а он про сие никому не сказывал, ибо зело хитёр да скрытен. Как оно ни будь, а только, завидя на дороге санный возок с малой охраной, свистнул Безносый Аким страшным разбойничьим посвистом, оттянул тетиву лука и, не говоря худого слова, проткнул переднего конного калёной стрелой. Тут вся ватага из леса высыпала, похватили коней под уздцы, и пошла работа. Никто и ахнуть не успел, а верховые, все пятеро, уж на земле лежат, и снег вокруг них обильно красным окроплён.

И только, стало быть, ватажники начали к боярину подступать, как вдруг вылетает из-за поворота на рысях конная стража – полных три десятка супротив неполной Акимовой дюжины.

Ахнули разом из пищалей, троих на месте положили, да ещё трое, глядь, в снегу корчатся, волками голодными воют, свинцового боба отведав. Повис над дорогой кислый пороховой дым, в заснеженных ветках путается, а в дыму, яко черти в пекле, вертятся всадники в красных кафтанах, Акимовых разбойничков в капусту рубят. Режут, как свиней на мясоед, только кровяща во все стороны струями брызжет, паром горячим на снегу курится.

Понял Безносый Аким, что пришёл его смертный час. Другой бы на его месте заскучал, а ему – ну хоть бы что! Он уж давно понял, что смерти лютой не миновать, и бояться её, считай, совсем перестал: бойся не бойся, прячься не прячься, а она, костлявая, тебя всё едино сыщёт. Живым из этой переделки выбраться он уж не чаял, а хотел только одного: побольше псов боярских с собой на тот свет утащить.

И ловко же это у него получалось! В правой руке кистень тяжёлый, в левой – острая сабля. Крутится, приседает, бьёт наотмашь, колет, лошадям сухожилия режет, валит их на снег и кистенём черепа дружинникам дробит – ну ровно бес из пекла вырвался на погибель христианским душам. А ватажники его тем временем один за другим на землю ложатся. Иные в лес кинулись, да от пули разве убежишь? И через малое время остался Аким Безносый один. Окружили его верховые, со всех сторон насаждают, а он бьётся в одиночку супротив целого войска да ещё и зубоскалит: вам-де с детишками малыми воевать, да и то ещё поглядеть надобно, кто кого одолеет. Бабы вы, говорит, в портках, а не мужи! По домам, кричит, ступайте, горшками командовать да младенцам соплю подолом утирать, быдло бессмысленное, супоросые вы свињи! А такого гостинца не хотели?

Хватил с земли топор, убитым разбойником обронённый, да и швырнул его прямо в лоб начальнику стражи. Вошёл топор по самый обух – десятник только рот разинул да с коня оземь и грянулся.

А Долгопятый-боярин глядит на эту резню и знай себе радуется, только что в ладоши не бьёт. «Любо! – кричит. – Ай любо! А ну, взять живым молодца!»

Накинули тут на Акима крепкую сеть, затянули, рывком его с ног свалили и саблю с кистенём из рук вывернули. Попинали маленько, как водится, потоптали ногами – куда ж без этого? Потом подняли на ноги и перед боярином поставили – слушать, стало быть, приговор.

Стоит Аким Безносый перед боярином – морда разбита, с бороды кровь на дорогу каплет, мешочек кожаный, коим он дыру на месте носа прикрывал, в драке потерялся; шапки, знамо дело, тоже нет, и сквозь спутанные космы на лбу клеймо проглядывает. Ну, словом, с первого взгляда видать, что за птица. Стоит он, стало быть, и смотрит в серое низкое небо – на боярина-то глядеть ему радости мало, раз его, толстобрюхого, ныне ни руками, ни зубами не достанешь.

– Ай да молодец, – боярин говорит. – Знатно ты меня потешил. За то, ежели на верность мне крест поцелуешь, подарю тебе живот. А не хочешь – отведаешь царской милости, какая для таких псов, как ты, припасена.

– На всё воля Божья, боярин, – Аким ему отвечает, а сам, как прежде, в небо глядит. – Милость царская мне и без того ведома. А только не бывать лесному зверю цепным псом. Казни меня, коли любо, а под твоими воротами лаять я всё одно не стану.

– Кому под воротами лаять, всегда сыщется, – говорит тогда боярин. – А и нет на свете собаки, коей пращурь вольно по лесу не бегали и волками не звались. Нешто у тебя, человека, меньше разума, чем у зверя лесного, который сильному хозяину поклонился? Ну, да невольничать не стану. Не любо – казню, как конокрада. Вёдомо тебе, как конокрадов казнят?

Ну, сие и младенцу неразумному ведомо. Пригнут всем миром к земле два деревца, за руки да за ноги к ним привяжут, да верхушки-то и отпустят. Не чаял Аким Безносый для себя такой смерти; бояться-то не боялся, а и торопить кончину лютую, ежели подумать, вовсе незачем. Боярин-то дело предлагал. Оно, конечно, неволя, да только воли в лесной берлоге Аким уж досыта наелся. Спокойной да сытой жизни, какую Долгопятый ему сулил, он отродясь не видывал. Так отчего не попробовать? Оно, может, и не по вкусу придётся, однако кишки

свои по всему лесу разбросать и того горше будет. Помереть всегда успеется, чаша сия никого не минует. Да и зла на боярина Аким Безносый не держал – с чего бы вдруг? Боярин как боярин, не хуже и не лучше других. Сказывают, зверь, так что с того? Кто ныне не зверь? Все звери, только один, яко корова либо овца бессмысленная, гнилую солому жуёт да ждёт, когда его резать придут, а другой сам направо и налево режет и всю жизнь досыта свежим мясом наедается. В волчьей стае, кто сильнее да злей, тот и вожак, а за хорошим вожаком и последнему зверю не худо живётся.

Словом, сговорились два душегуба. Да и как им было не сговориться, когда, сами того не ведая, имели они друг в друге великую нужду? Боярину пёс был надобен, да такой, чтоб его все волки на сто вёрст в округе до беспамятства боялись, а Акиму – хозяин, который бы его, государева преступника, от царского гнева укрыл и дозволил без оглядки далее православную кровь, яко воду, наземь лить.

Акиму, как боярин повелел, крест на верность ему поцеловал. Ему, Акиму, всё едино было, что целовать – хоть крест святой, хоть телячий хвост. Целовал и думал: погоду, боярин, дай отдышаться, тогда и поглядим, любо мне в твоих псах ходить аль не любо.

Оказалось – любо. Кормят от пуза, зелена вина вдоволь, и бабу, коли придёт такая охота, немедля доставят. Работы немного, а когда есть, она только в радость – холопа ли дерзкого наказать, чтоб впредь буянить неповадно было, правду ли из татя пойманного калёным железом вытянуть, а то и прирезать кого втихую. Всяко случалось, и всё Акиму по нутру приходилось. Жаловал его боярин щедро – одежей со своего плеча, деньгами, вольностями, каких иная дворня в Долгопятовском имении отродясь не видывала, а паче всего – доверием. Ежели случалась хитрая закавыка, когда без лихого дела не обойдёшься, боярин звал Акима к себе в горницу и подолгу с ним советовался, как с равным почти что. К устам его ухо преклонял и советам безносого государева преступника частенько следовал – понимал, что в тайном воровском ремесле он, боярин, Акиму не ровня.

От такой жизни Акиму Безносый зело раздобрел и так окреп, что хоть на медведя с голыми руками его выпускай. Отьелся Акиму, отпарился в бане, волоса да бороду ровней подрезал и стал, ежели издалека глянуть, совсем на человека похож, а не на зверя лесного, каким раньше был. На лбу носил кожаную повязку, коя и волосам не давала в глаза лезть, и клеймо прикрывала; для носа же боярин пожаловал ему бархатный мешочек и сам не погнушался пустить среди дворни слух, будто купил себе нового палача где-то на стороне и будто носа у него нет с малолетства – собака-де ненароком откусила, когда он по младенческому неразумию в конуру к ней заполз.

За то, что побил Акимову ватагу, вышла боярину царская милость да ласка. А про самого Акима Долгопятый царю наплёл, будто сбежал разбойничий атаман в лес и там, в чащобе, без следа затерялся. Царь на эти слова похмурился, повздыхал – жалко-де, что сие крапивное семя не удалось под самый корень извести, – однако ж делать нечего, поверил. Тем более что с тех пор про Безносого Акима никто и слыхом не слыхивал – не то подался он в вольные казачьи земли, не то сгинул в болоте либо в волчьем брюхе. Так, по крайности, царь-батюшка со слов боярина Долгопятого думал, а за царём и все иные-прочие. К тому времени, вишь, Ивану Васильевичу, великому князю московскому и всея Руси государю, уже даже в мыслях перечить мало кто осмеливался.

То, что царю про него сказывал, боярин нарочно Акиму пересказал. Ничего не прибавил, да Акиму и сам смекнул: неспроста это. Оставил боярин у себя в руке конец верёвки, которая у него, Акима, петлёй на шее была захлестнута. Чуть что не по его, потянет за верёвку да скажет: гляди, государь-батюшка, какого я для тебя зверя изловил! Кабы не было у него на уме ничего такого, он бы прямо так царю и сказал: помер-де беглый каторжник безносый Акиму вместе со всею своей ватагой, пулей убит, саблей засечён, бердышом зарублен...

Ну, да ничего иного Аким и не ждал. Не таков был боярин, чтоб даже самому верному из своих псов без оглядки верить. Безносый и сам-то никому не верил, а боярину служил правдой потому, что так ему самому легче было. А ещё потому, что боялся хозяина истинно как забитый дворовый пёс. Сам не мог в толк взять, в чём тут загвоздка: сроду никого и ничего не боялся, а на Долгопятого спокойно глядеть не мог – коленки подгибались, и по всему телу мурашки начинали бегать, ровно и не боярин то был, а сам сатана в бобровой шапке да с посохом. Так и тянуло на брюхо пасть и в пыли у его ног пресмыкаться, сапоги ему лизать. Однако Аким держался – знал, что льстецов да лизоблюдов вокруг боярина и без него достанет и что, ежели он, Аким, им уподобится, у Феофана Иоанновича к нему враз интерес пропадёт: на что ему, боярину Долгопятому, ещё один червь под ногами? Ему, кормильцу, помощник надобен, коего все кругом трепетали бы...

Размышляя об этом, Безносый Аким, по обыкновению, упражнялся в своём закутке на заднем дворе. Нынче он не взял с собой никакого оружия, помимо кожаной пращи и кучки гладких округлых камней. Пращником он был знатным: первый пущенный им камень погнул нагрудное зеркало на обряжённом в аломанские латы соломенном болване, второй сбил с глиняного горшка, что заменял «лыцарю» голову, побитый ржавчиной шелом, а третий, со свистом пролетев через весь двор, разнёс оный горшок вдребезги – только черепки в стороны брызнули. Одобрительно качнув косматой головой, Аким придирчиво осмотрел несколько камней, выбрал тот, что показался лучше иных, и вложил в ременную петлю. Праща начала со свистом описывать круги в воздухе, вращение её всё убыстрялось. Потом ремень хлопнул, выпуская камень на волю; снаряд пролетел через двор, звонко ударил в жердь, что заменяла чучелу ногу, и с треском её переломил. Ржавые латы с лязгом упали на землю, развалившись на куски.

Позади Акима кто-то испуганно охнул. Обернувшись, безносый палач увидел дворового мужика, который, истово крестясь, круглыми глазами смотрел на опрокинутого «лыцаря».

– Чего тебе? – буркнул Аким, не любивший, когда за ним подглядывали.

– Боярин тебя видеть желает, – кланяясь, как господину, ибо у всей дворни палач вызывал понятный страх, сообщил мужик. – В горнице ждёт. Велел поспешать.

– Без тебя знаю, – рыкнул Аким, с сожалением сворачивая пращу и засовывая её за пояс. – Ступай, я следом.

Боярин сидел в узкой светёлке, где обыкновенно уединялся, дабы без чужого глаза воздать должное зеленой вину. Здесь же, когда случалась нужда, он вёл долгие беседы с глазу на глаз с Акимом. Бревенчатые стены были увешаны узорчатыми коврами, поверх которых красовалось любовно вычищенное и наточенное, хоть сей же час в бой, оружие предков – мечи, кривые сабли, шестопёры, булавы, кинжалы, круглые щиты и богато вызолоченные шелома. Акиму нравилось глядеть на оружие: было оно не только красно, но и к делу пригодно, да не к какому попало делу, а к тому самому, которое Безносый Аким умел и любил делать лучше всего на свете.

На боярина глядеть было не в пример хуже, чем на мечи да луки со стрелами. Едва его завидев, Аким, как обычно, поборол желание распластаться на полу. Вместо этого он поклонился, стащив с головы шапку, и, оборотись к красному углу, перекрестился на иконы – боярин любил, чтоб люди при нём выказывали набожность, хотя бы и напускную. Вот Аким и крестился – жалко, что ли? Небось рука не отсохнет.

– Собирайся в дорогу, – сказал ему боярин, наливая себе вина в золочёную, с затейливым узором, сулею. – Я конюху скажу, чтоб Воронка тебе дал. На нём, на Воронке, и поедешь.

Сказав так, боярин разинул рот и выплеснул в него вино. Пока он крякал, сопел и утирал бороду, Аким быстро прикинул, что к чему. Воронок был жеребчик не быстрый, однако зело выносливый. Стало быть, путь предстоял дальний и нескорый. Куда бы это?

– Поедешь астраханского хана воевать, – будто подслушав его мысли, ответил на невысказанный вопрос палача Феофан Иоаннович. – Пристанешь к войску, кое ныне туда отправляется...

– Я-то? – не сдержавшись, перебил грозного хозяина изумлённый Аким.

– То-то, что ты, – проворчал боярин, сызнова наполняя сулею. – Ясно, что с такою рожей тебя десятником али пушкарём не поставят. Да мне сие и не надобно, войско с Божьей помощью и без тебя, пса, татарина побьёт. А ты гляди в оба. Попадёшься – стрельцы с тобой потешатся. На кол посадят да и оставят воронью на поживу. Посему иди за войском скрытно, личной ли какой прикройся... Ну, не мне тебя учить. Сосед мой, Зимин, тож там будет. Вот его ты мне и добудь. Да так добудь, чтоб не на тебя, а на татар подумали. Чтоб в бою и у всех на глазах.

Аким поклонился с искренним почтением. Здесь, в этой увешанной оружием горнице, они с боярином не раз обсуждали, как бы им заставить чрезмерно горделивого да заносчивого дворянчика склонить непокорную голову перед родовитым соседом. Аким, лесная душа, предлагал меры простые, скорые и кровавые, боярин же его удерживал, говоря, что царь, коему хорошо ведомо об их с Зиминим подспудной распри и взаимной неприязни, может заподозрить его, Феофана Иоанновича, в злом умышлении. А ежели заподозрит, имение Зимина как пить дать ему не отпишет, а заберёт в казну. На что тогда руки марать? «Случая надобно ждать, – говорил боярин. – Случай, он завсегда подвернётся, ежели рот не разевать и терпение иметь».

Аким, понятно, с хозяином не спорил, но про себя думал, что осторожничают боярин сверх меры. Надобно тебе соседу шею свернуть – пойди да сверни, чего тут мудрить? А о том, что после будет, не задумывайся: Бог не выдаст, свинья не съест.

А теперь выходило, что боярин-то опять прав оказался: терпение его великое наконец себя оказало. На то и война, чтоб люди гибли. Свистнет ли из кустов меткая стрела, вонзится ли в разгар боя под ребро обоюдоострый кинжал, конец один – смерть. А виноват кто? Подика, не боярин Долгопятый! Татарин виноват, больше некому... Ловко!

– А и мудр же ты, боярин, – молвил Аким, мигом всё сообразив.

– На то и думный боярин, чтоб головою думать, а не гузном, как иные, – проворчал Феофан Иоаннович, поднося к бороде наполненную до краёв сулею. – Ну, ступай с Богом. Да шалить не вздумай; ежели что, сам знаешь – из-под земли достану и обратно в неё, матушку, по самые ноздри вобью.

Безносый палач молча поклонился боярину и, тяжко скрипя половицами, вышел из горницы.

Глава 5

Денёк выдался ясный, погожий, почти по-летнему тёплый. Солнце с самого утра принялось за работу: выкрасило яркими пёстрыми красками небо и землю, зажгло на реке золотые искры, высушило росу, прогнало из ложбинок предутренний зябкий туман, обогрело и приласкало каждое деревце, каждую травинку, всякую Божью тварь. Эх, любо! Жаль только, что мужику в эту пору недосуг красотами земными любоваться. Да и где она, та пора, когда б ему, лапотнику, достало времени колом стоять и, разинув рот, глазеть на то, как речка рябит, либо как ветерок листвою играет? С ранней весны до поздней осени в поле спину гни, да и зимой работы хватает: то в лес по дрова, то в извоз, то в отхожий промысел, на Москве палаты каменные возводить, а то ещё чего на нечёсаную макушку свалится – за работой, слава тебе господи, мужику гоняться не приходится, она сама его где угодно сыщёт.

А всё одно любо. И ещё краше, когда работа, которой занят, тебе по нутру. Хорошо тому, кого Господь в неизъясимой милости своей наградил при рождении каким-никаким талантом, вложил в голову разумение, а в руки – ремесло. Талант, он всё едино себя окажет, будь ты хоть трижды мужик. Талант – благословение Господне, а оно как подземный ручей: сколь его взаперти ни держи, рано или поздно на волю пробьётся.

Так оно и со Стёпкой Лаптевым вышло. Богомазом, как дружок его, дворянский сын Никита Андреев сын Зимин, прочил, он, понятно, не стал – жизнь не пустила. Тогда, после той полузабытой драки на речном берегу, когда Стёпка боярскому сынку светлый его краснощёкий лик попортил, Никиткин отец, Андрей Савельевич, храни его Господь за его доброту, вывез всё Стёпкино семейство в дальнюю свою деревню, подальше от злого боярского глаза. Деревенька была, как говорится, кот наплакал, воробей нагадил – двадцать дворов всего, и меж них ни одного зажиточного. Кругом лес, а в лесу известно, какая земля – песочек, вот тебе и все пахотные уголья. Был когда-то починок – пришли мужички, лес повырубили, пни да коренья повыжгли, стали сеяться. Да только с тех пор уж много воды утекло – изрожалась земля, оскудела. Паши её или не паши – всё едино; счастье, ежели по осени удастся то вернуть, что весной в борозду бросили. Посему мужички в Лесной, как деревня-то прозывалась, издревле жили извозом, отхожими промыслами да рубкой леса, коего в округе, слава богу, хватало, и даже с избытком.

Вот и Стёпкин отец в лесорубы подался – жить-то надо. Да, видать, не пошла лаптевскому семейству впрок барская доброта: трёх годков не минуло, как зашибло его в лесу деревом. Насмерть зашибло; мужики, что с ним в лесу были, сказывали, что не мучился – сразу, с одного удара, Богу душу отдал. Видать, Стёпка, когда боярского сына кулаком в глаз бил, сильно Господа прогневал, вот и вышло ему, стало быть, через отцову смерть наказание.

Никто ему того не говорил, однако вину свою в отцовой гибели Стёпка нутром чуял. Ну, да как там ни будь, а остался он в свои неполные четырнадцать годков в семье единственным мужиком, кормильцем да защитником. И то слава богу, что всей семьи-то – мать да он сам. Однако двоим тож кормиться надобно, а мать после того, как отец-то погиб, с горя занедужила – ослабела ногами, едва-едва у печки с горшками управлялась. Ну, какой тут может быть монастырь, какая такая иконопись? Пришлось остаться; да он, Стёпка, с малолетства знал, что придётся, а потому и не горевал. Мужику себя пустыми мечтаньями тешить не полагается; мечтай ты хоть всю жизнь царём сделаться либо, для примера, взять себе в жёны Василису Премудрую, всё едино как был ты смердом в драных портах, так смердом и помрёшь, и не будет тебе ни царства, ни Василисы.

Парнем он рос крепким, в четырнадцать лет глядел на все семнадцать, а посему, когда попросился подручным в плотницкую артель, мужики недолго думали, тем паче что им как раз шустрый помощник был надобен. Стал Степан приучаться к ремеслу, и вот тут-то божий дар

себя и оказал. Присели как-то мужики для роздыха. Стёпка тоже присел, только чуть поодаль, как младшему полагается. Сидит и топориком обрезок доски ковыряет, режет что-то. Старшой глядел-глядел, а после не вытерпел, подошёл. Хотел мальцу попенять: что ж ты, дескать, оголец, матерьял попусту переводишь? А глянул – и враз пенять раздумал: выходит из-под Стёпкиного топора петух, коим конёк крыши венчают, да так лепо выходит, так красно, что старшой залюбовался. А ну, говорит, кажи, чего у тебя тут. Стёпка застыдился, петуха руками закрыл. Это, говорит, так, для потехи. «А ежели не для потехи?» – старшой спрашивает. «Можно и не для потехи, – Стёпка ему говорит. – Тогда, я чай, много краше получится».

Вот с того дня и началось. Стал Степан резать всякую всячину – коньки для крыш, наличники кружевные, перила да столбики для крылечек. Мало-помалу слава о нём далеко разошлась, а артельному люду то на руку: зовут наперебой, за рукава хватают, мало что не дерутся, споря, чьи хоромы Стёпкина артель вперёд рубить-то будет. Много домов поставили – и на Москве, и вокруг неё, Первопрестольной. Строили и для купцов, и для дворян, и для государевой надобности. Оброк платили справно, тем паче что барин, Андрей Савельевич, его с должным разумением положил, не жадничая. И он был доволен, и артельщики на жизнь не жаловались. А чего жаловаться, когда работа добрая? И людям радость, и самому приятно, и дух от дерева идёт здоровый, смолистый...

Степан сидел, оседлав крутую крышу дома, который они с мужиками срубили для приходского священника, отца Дмитрия, и, ловко орудуя обухом топора, приколачивал к коньку украшение – резную конскую голову. Батюшка прохаживался внизу по усеянному щепой двору промеж снующими плотниками и бабами, которые помогали прибраться после окончания работы, и снизу вверх поглядывал на Степана – поглядывал, кажется, одобрительно, с довольством в очах. Степан и сам был доволен работой: дом получился справный и зело изукрашенный, а конская голова вышла всего иного убранства краше – жалко даже, что высоко приколочена, снизу всей лепоты как след не разглядишь. Когда её резал, вспомнилась почему-то история, пересказанная в малолетстве Никитой, про чудотворную икону Георгия Победоносца. Там, на иконе, тоже был конь, и Степан, работая, отчего-то видел перед собой тот образ будто наяву. Так что конь получился как живой, разве что немного сердитый. Да и как иначе-то? Боевой ведь конь, змия копытами попирает, то вам не шутка! И отцу Дмитрию понравилось: сказал, что сердитый конь над его домом будет грешникам напоминать о неотвратимости Божьей кары. После, правда, застыдился и Степана обругал, но без сердца, а как бы шуткой: мол, что ж ты, нехристь, из меня, смиренного слуги Божьего, язычника какого-то делаешь? Экую диковину соорудил, так и тянет, на неё глядя, перекреститься...

Окончив работу, он помедлил спускаться с крыши. Хорошо было сидеть тут, на самом верху, откуда видна вся деревня, поля и сизый часток кол хвойного леса, кое-где испятнанный червонным осенним золотом, и греться на последнем в этом году солнышке. На пригорке, вознеся к чуть забрызганному перистыми облаками синему-синему небу островерхую шатровую кровлю, высилась недавно построенная деревянная церковь – тож их артели работа. Степан и рубить её помогал, и резьбу на ней резал, и алтарь с иконостасом, которые внутри, его руками были сработаны.

То и дело налетавший с реки ветерок трепал его схваченные тонким кожаным ремешком волосы, путался в курчавой, молодой, но уже загустевшей русой бородке. Ветерок был прохладный и пах осенью, а от тёсовой крыши тянуло ровным сухим теплом, как от лежанки русской печки. Люди сверху казались маленькими и странно укороченными; там, среди них, сгребая в траве щепки – и белые, совсем свежие, и потемневшие от дождей старые, – суетилась, то и дело поглядывая наверх, Ольга, к которой Степан неделю назад заслал сватов. Отказа, понятно, не случилось: Ольга давно заглядывалась на статного и гожего собою резчика.

Да и женихом он считался завидным – и собой хорош, и силён, и в кружало не ходок, и ремесло в руках, и с молодым барином дружен – тоже, между прочим, не самое последнее дело.

Как же откажешь, ежели сам Никита Андреич невесту сватает? Свадьбу, как заведено, решили играть по осени, когда кончатся полевые работы, и Степан с Ольгой старательно считали дни: вот один прошёл, вот ещё, а вот и неделя улиткой проползла... Кабы не работа, верно, совсем невтерпёж стало бы ждать; Степан, бывало, всё голову ломал: и как это बारे живут, коим занять себя нечем?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.